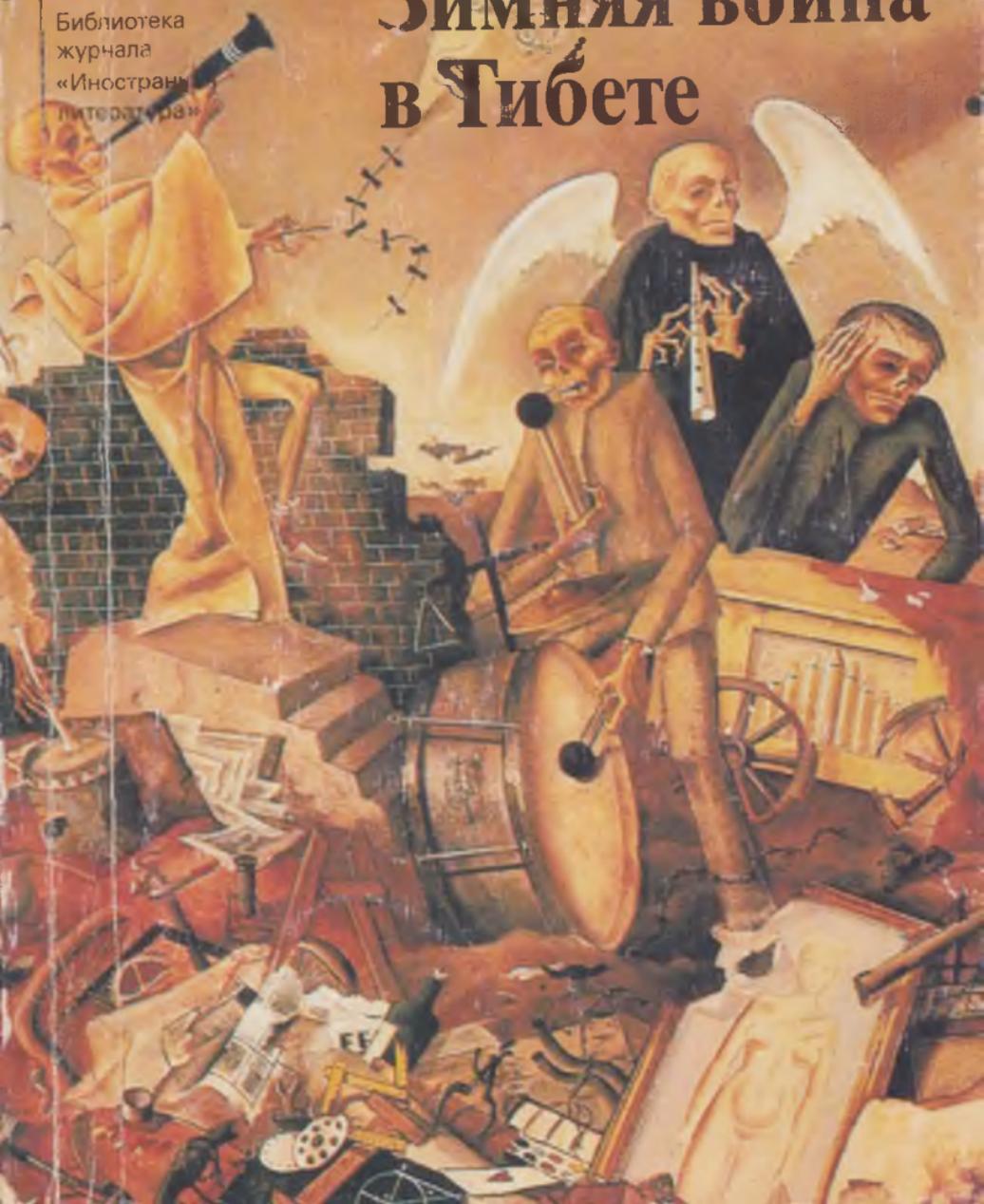


ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Фридрих
Дюрренматт
Зимняя война
в Тибете



Книга должна быть
возвращена не позже

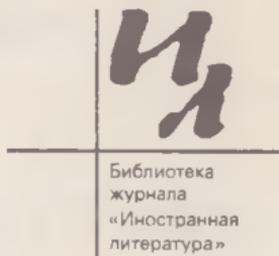
И (Швейцария)
Д 97

15699

Коллекция Д

Коллекция в Швейцарии

647-82



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Friedrich Dürrenmatt

М. 10
Фридрих Дюрренматт

Б. 0

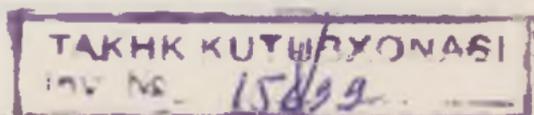
Зимняя война в Тибете

Фантастическая повесть и радиопьесы

Перевод с немецкого

*Предисловие и составление
Н. Павловой*

Москва
«Изнестия»
1990



И (Швейц)
Д97

Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов

Редактор И. Кивель

Рецензент Ю. Гинзбург

На обложке: фрагмент картины немецкого художника Феликса Нуссбаума «Музицирование скелетов». 1944.

Д $\frac{4703010100-010}{074(02)-90}$ 69-90

ISBN 5-206-00041-8

© 1981 by Diogenes Verlag AG Zurich

© Оформление, составление, предисловие, перевод на русский язык
издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1990

Предисловие

В этой книжке читатель найдет три радиопьесы и повесть швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта. Он известен у нас давно, с конца 50-х годов, когда на весь мир прославились пьесы «Визит старой дамы», «Физики», «Ромул Великий». С тех пор Дюрренматт издавался у нас неоднократно*. Но за изданиями на родине мы явно не поспевали: только прозаические произведения заняли четырнадцать томов; еще больше сделано им в драматургии. С годами Дюрренматт не теряет страсти к работе. Не иссякает и второе увлечение писателя — к рисованию.

Но как ни многообразно творчество Дюрренматта — это единый художественный мир. Войти в него и предстоит читателю.

Дюрренматт родился в 1921 году, в семье пастора одного из сельских приходов кантона Берн. Вокруг, по долинам, холмам и горам, были разбросаны деревни. Деревня Колонфинген была не из меньших. Тут был собственный «театральный зал», где среди прочего ставились произведения местного учителя. И вокзал, у которого ненадолго задерживались поезда, шедшие в отдаленный Люцерн и близкий Берн. Жизнь была замкнута в себе, текла по своим патриархальным законам. Выступая во время первого посещения нашей страны в 1964 году в московском Институте мировой литературы, Дюрренматт, хитровато ухмы-

* Ф. Дюрренматт. Визит старой дамы.— «Иностранная литература», № 3, 1958; Ф. Дюрренматт. Авария.— «ИЛ», № 7, 1961; Ф. Дюрренматт. Обещание.— «ИЛ», № 5, 1966; Ф. Дюрренматт. Комедии.— М.: Искусство, 1969; Ф. Дюрренматт. Играем Стриндберга.— «ИЛ», № 4, 1973; Ф. Дюрренматт. Правосудие.— «ИЛ», № 6, 1988.

ляясь, вспоминал, каким привычным и частым впечатлением была в его детстве смерть: в приходе то и дело кого-то отпевали, кого-то хоронили; дети, как всюду по деревням, с любопытством смотрели, как забивают скот. Так, а не политическими причинами он объяснил тогда, вопреки ожиданиям аудитории, некоторые мрачные стороны своего творчества.

Мрачный, скептический взгляд на мир и впредь отличал Дюрренматта. Но свойственны этому автору и некое легкомыслие, подозрительная несерьезность, безудержное озорство.

Дюрренматт начинал писать в годы, когда на подмостки европейских театров вышла драматургия «интеллектуального направления». Во Франции послевоенных лет и раньше, в годы войны, ставились пьесы Сартра, Камю и Ануя. Мировое признание завоевала драматургия Брехта.

В сравнении с этой драматургией комедии, да и проза Дюрренматта гораздо более свободны. Он не раз писал о своей страсти к игре, об отсутствии четко сформулированного до и во время работы замысла, как будто бы произвольно вырастающего из материала.

Сразу заметна и другая особенность его творчества. Как и другой крупнейший швейцарский писатель Макс Фриш, Дюрренматт не воспроизводил в своих произведениях действительность Швейцарии. В 60-е годы, в пору стремительного взлета его творчества, литературная общественность была серьезно озабочена «исчезновением Швейцарии» из швейцарской литературы.

На самом деле это было не совсем так. Дюрренматт, как и М. Фриш,— зоркий наблюдатель отечественной действительности. Но эта действительность, как и действительность мировая — а именно таковы горизонты дюрренматтовского творчества,— вольно перевоссоздается в его произведениях. Дюрренматт творит, смешивая, сдвигая, перетасовывая характерные черты современного мира. Из этого материала он лепит иную реальность, существующую по своим законам, смешную, гротескную, страшную,

фантастическую, но узнаваемую. По его собственным словам, он создает «модели возможных человеческих отношений».

Невероятны происшествия, разворачивающиеся в его знаменитой пьесе «Визит старой дамы» (1956): неслыханно разбогатевшая героиня подкупает всех жителей родного города, заставляя их убить за миллион долларов некогда совратившего ее человека. «Надо играть мой текст, подтекст найдется сам», — советовал Дюрренматт постановщикам пьесы. И подтекст находился... В невероятном просвечивала реальность многих и многих мест современного мира. Город Гюллен существовал по общим законам. Его жители, комментировал Дюрренматт в заключительных примечаниях к пьесе, — «не чудовища, а такие же люди, как мы все». На одном появились новые желтые башмаки. Другой курит дорогую сигару. Каждому как будто еще невдомек, почему он решается на такие траты. Но подспудная работа по устранению совести уже началась. Мотивы, приводящие горожан к удивительному единодушию в решимости убить беззащитного человека, с развитием действия начинают казаться такими естественными, что драматург советует играть свою жестокую пьесу «не жестоко, но со всей человечностью, с печалью, а не с гневом, и непременно с юмором».

А радиопьеса «Авария» (1956) и другие его произведения, вошедшие в нашу книгу? Что в них невероятно? Что реально? Возможно ли, что средний, самодовольный, преуспевающий человек, герой радиопьесы «Авария», соглашается вдруг, что в его жизни (как, впрочем, и в жизни многих и многих людей) есть преступление, и это преступление — основа его теперешнего благополучия? Что достоверно в напоминающей научную фантастику радиопьесе «Операция „Вега“»? Что вероятно в жуткой гротескной картине послеатомной реальности, нарисованной в повести «Зимняя война в Тибете»? Ответить на эти вопросы предстоит читателю. Автор не помогает ему, не выстраивает жестких конструкций, не настаивает на соот-

ветствии действительности. Наше воображение вовлекается в начатую писателем творческую игру.

Писатель выбрал невероятность призмой, через которую видит действительность.

В своих теоретических работах о театре («Проблемы театра», 1955) Дюрренматт неизменно зыщисал комедию как единственный жанр, в котором может адекватно отразиться современная жизнь. Только комедия, полагает он, способна в конкретных образах передать облик утратившего конкретность мира.

Произведения Дюрренматта богаты подробностями. Постановки его пьес неизменно требуют зрелищности. Он постоянно говорит о своем пристрастии к «красочному театру». Но конкретность самой современной жизни кажется ему сомнительной: она лишь покров, скрывающий пропасти. В прошлые времена, писал Дюрренматт, когда полноправным жанром на европейской сцене была трагедия, ее герои сталкивались с определенным противником. Победа над ним, торжество героя могли изменить развитие событий. В современной действительности найти противника не так просто. Произвол диктаторов привел к гибели миллионы. Но кровь не только на них, но и на породившей их системе. Ответ должны нести слишком многие, вина становится неуловимой. «Никто не имел к этому отношения, никто не хотел этого» *.

Невероятное, необычное происшествие, столь уместное в комедии, и может показать, по убеждению Дюрренматта, причастность непрichастных, прорвать видимость, обнажить гротескный лик действительности.

Дюрренматт начинает обычно с картины, ситуации, содержащих в себе зерно замысла. Пьеса «Визит старой дамы», недавно экранизированная у нас М. Козаковым, родилась, по словам автора, из воспоминания о маленьком вокзале, на котором обычно не задерживались экспрессы. Автор задал себе вопросы: что могло задержать здесь поезд?

* *Friedrich Dürrenmatt. Theater-Schriften und Reden. Zürich, Arche, 1966, S. 127.*

Кто мог позволить себе пользоваться для остановки стоп-краном? Самая богатая женщина мира оказывалась в родном обнищавшем городке. Обнаруживалась ситуация, таившая непредвиденные столкновения. С места в карьер начиналось действие, о темпе и напряженности которого Дюрренматт как-то сказал, что оно как выстрел.

Толчком сюжета у Дюрренматта часто оказывается появление из неведомого далека нового лица. «Ангел приходит в Вавилон» — названа одна его известная пьеса. Герой радиопьесы «Авария» коммивояжер Трапс так же неожиданно появляется в доме старичков, играющих в суд, как старая дама в городе Гюллен. Но и там, где никто никуда не приходит, действительность Дюрренматта подвержена неожиданностям.

Можно ли было заранее предсказать совершившееся в XX веке? Не обнаружили ли события, развивавшиеся на наших глазах, непредвиденного не только в отдельных людях, но и в целых народах, и в судьбе человечества? Дюрренматт исходит именно из этого качества современной реальности. Он создает действительность, чреватую катастрофами. Его герои подвластны случаю, как древний рок, опрокидывающему их замыслы. Особенно сокрушительно случай действует тогда, когда люди движутся к намеченной цели по точно разработанному плану. «Самый плохой оборот нельзя предвидеть. Он случаен», — писал Дюрренматт в 21-м тезисе к пьесе «Физики». И дальше: «Искусство драматурга состоит в том, чтобы наиболее действенным способом включить случай в сюжет».

Случай приводит героев Дюрренматта к противоположному их стремлениям, «к тому, чего они боялись, чего хотели избежать». Непредвиденная случайность привела калеку Страницкого к главе правительства, Национальному герою фон Меве (радиопьеса «Страницкий и Национальный герой», 1952). Но шанс оказался мнимым, результат визита плачевным: зараженный проказой глава правительства и калека войны не равны и в участи страдальцев.

Радиопьеса «Операция „Вега“» вся построена на несоответствиях ожидаемого и результатов. Будто предвидя в 1954 году, когда он работал над пьесой, возможность звездных войн и перенесения политики в космос, Дюрренматт написал о полете на Венеру с целью использовать преступников, столетиями ссылавшихся сюда двумя враждебными государственными группировками, в будущих военных столкновениях. Но действительность покрытой плотными облаками планеты оказалась совершенно иной, чем представляли себе прибывшие. Прямо противоположной была и реакция существующих в страшных условиях жителей на предложение вернуться на Землю.

Главное художественное напряжение творчества Дюрренматта — в двойственности будто бы нерушимого единства. В одной действительности он замечает две, за покровом спокойствия обнаруживает хаос, за возвышенным — низменное, за радужными надеждами — назревающую катастрофу. Случай, случайности в его произведениях — лишь привычный для писателя способ привести в действие «двойную оптику», расшатать и разломить мнимую цельность.

Разлом этой цельности — главный результат самых разнообразных его сюжетов. В прославленной пьесе «Ромул Великий» (первая редакция 1949 г., вторая — 1957) материалом избрана смена эпох. Рушится один мир, мир великой культуры, начинается новое время. В конце этой веселой комедии в римскую столицу вступают варвары. Но слом жизни наметился в пьесе гораздо раньше и лишь углубляется на ее протяжении. Смешные детали самой своей юмористической неуместностью помогают начать расслоение жизни, колеблют одно, чтобы показать за ним нечто совсем другое.

Повторяющейся коллизией его произведений является коллизия суда, расследования, разоблачения. Дюрренматт — автор нескольких переведенных и на русский язык детективных романов («Судья и его палач», 1950; «Подозрение», 1951; «Обещание», 1959). Но другие его произ-

ведения также не чужды поэтике криминального жанра: подобно детективу, автор доискивается до скрытых причин и следствий, до подлинной действительности.

Радиопьеса «Авария» кончается тем, что герой как ни в чем не бывало продолжает прерванный на короткое время путь (в одноименной новелле автор придумал другой конец: коммивояжер Трапс повесился в комнате, куда его поздней ночью проводили под руки гостеприимные хозяева). Но как бы там ни было, забавные старички, продолжающие на отдыхе игру в свои прежние судейские занятия, успели выяснить, что на совести у Трапса не один из рук вон плохой поступок и даже, пожалуй, убийство, если называть вещи своими именами, чего, разумеется, ни один человек не делает.

Существует мнение, будто герои Дюрренматта безжизненны и напоминают марионеток. Известный американский писатель Курт Воннегут сравнил как-то произведения Дюрренматта с прекрасными и редкостными швейцарскими часами, в механизме которых все совершенно, но нет никаких тайн*.

Это мнение верно только отчасти.

Дюрренматту действительно чужд тот разветвленный психологизм, который долгое время почитался, во всяком случае у нас, обязательным признаком большой реалистической литературы. Этот писатель мастерски изображает человеческие души, но лишь тогда, когда их движения имеют общий смысл. Герои Дюрренматта попадают в ситуации чрезвычайные. Даже заурядный Трапс реагирует при этом сверхнеобычно. К концу разбирательства, преисполнившись немислимой гордости, он буквально требует признать его убийцей. В своих глазах он теперь героическая фигура, личность, человек, способный на все. Надо обладать совершенно особым, изощренным мастерством, чтобы показать психологическую обоснованность этих в общем совершенно неестественных поступков. Но Дюрренматт добивается большего: хотя описанные

* Über Friedrich Dürrenmatt. Zürich, Diogenes, 1980, S. 382.

им реакции сверхнеобычны, в них отражается типическое и общее, узнаваемое и понятное для многих людей. Вспомним еще раз сказанное о жителях городка в пьесе «Визит старой дамы»: «Гюлленцы такие же люди, как мы все».

Кипит жизнь, полная непредвиденных случайностей. В ее гуще завязывается великое множество необычных, неожиданных поворотов. Но заметно и нечто пугающе одинаковое — развитие по шаблону, по проторенной дорожке, повторение подобного. Не царит ли на вилле судьи атмосфера старческой эротики и злодейства, не повторяется ли и тут неким дуплетом та же ситуация любовной связи с расчетом на смерть, в которой старики обвинили Трапса? Ведь служанка Симона только и ждет, чтобы унаследовать дом хозяина. Ни один человек не похож на другого. Не похожи один на другого и дюрренматтовские герои. Но твердо действуют негласные правила поведения современного человека. Есть что-то страшное в том, что, как написал Дюрренматт в новелле «Авария», «судьбы людей разыгрываются одинаково».

Все нетвердо, сомнительно: во всех и во всем, как в душе Трапса, есть способность к внезапным превращениям. Каждый образ, каждая ситуация таят в себе у Дюрренматта игру смыслов. Кто эти румяные старички с их ужасающим, раблезианским обжорством? Милые пенсионеры или зловещие фигуры, будто сошедшие с полотен Босха? И не напоминает ли это шутовское судилище о неизбежности Страшного суда над делами человеческими? К последнему пределу жизни человечества близка ситуация радиопьесы «Операция „Вега“». Повесть «Зимняя война в Тибете» (1981) описывает время после свершившейся мировой катастрофы.

Произведения Дюрренматта всегда отличались юмором. Ненатурный и легкий, он долго не теряет главного своего свойства — веселости и будто медлит обратиться в гротеск. Юмор Дюрренматта естествен, потому что основан на той самой способности двойного зрения, которая отличает дар

писателя. Юмор фиксирует несоответствия, расщепляет цельную картину мира. Своего героя Страницкого, одержимого высокими, несбыточными стремлениями, Дюрренматт помещает, например, не куда-нибудь, а на улицу Моцарта. Но на улице Моцарта — подвох на мини-площадке — пахнет капустой и кричат младенцы. Высокие помыслы подтачиваются реальностью.

В повести «Зимняя война в Тибете» юмора нет. Несответствия здесь катастрофичны. Несмотря на сравнительно небольшой объем, перед читателем развернута грандиозная фреска.

Планета после атомной катастрофы. Нет многих государств и народов. Одичавшие люди рушат последние остатки техники, в которой, как когда-то во времена луддитов, видят причину произошедшего. А где-то на плоскогорьях Тибета (это место, комментировал Дюрренматт, может быть и гораздо ближе) продолжают биться наемники. Администрация разжигает с детства воспитанное, въевшееся в сознание убеждение, без которого и теперь трудно обойтись выжившим: рядом не такие же полумертвые, а враги, с которыми надо бороться, ради которых жить. Против кого воюют люди? Что и кого они защищают? За что отдают свои руки-ноги и кладут головы? Враг — это фикция. Родины нет. Существуют незримая Администрация и наемники из разных стран и народов, изничтожающие по ее приказу себя и себе подобных. Во всемирных масштабах происходит то, что когда-то разыгрывалось в пьесе из старых времен, в дюрренматтовской обработке трагедии «Король Иоани» Шекспира (1968), где после заключения мира по инерции и в неумолимой ненависти продолжали биться люди. «Я наемник», — первые слова этой повести, солдат наемной армии, человек, продавший себя посторонней власти...

Наемничество — страшное явление швейцарской истории. Из века в век жители центральных кантонов зарабатывали свой хлеб, воюя за чужие интересы. Но в повести Дюрренматт понимает наемничество гораздо шире.

Он имеет в виду несоответствие, катастрофический разрыв между людьми и чуждой им властью. В каком-то окончательном смысле наемники — все человечество. В повести написано о замерзших городах, о потерявших разум калеках, о мире, похожем на бордель и застенок сразу. В этом-то мире надежно укрывшиеся в бункерах правительства взывают по радио к своим, уничтоженным ими народам.

Калека, с трудом передвигающийся по подземным ходам, царапает на стене свои записи протезом. Обезумевший от страха, он в любую секунду готов стрелять. Но то, что он пишет,— крик ужаса перед случившимся и смесь воспоминаний о прежней жизни, обрывков знаний, отблесков той культуры, которая была ему открыта когда-то, а теперь погребена под камнями. Может, это ему только мерещится? Реальны ли призраки таких же, как он, наемников,двигающиеся вдоль стен лабиринта, в которых он готов выпустить оставшиеся заряды? Или, как в пещере Платона,— философа, которого не раз вспоминают в повести,— это лишь слабые тени, а жизнь на самом деле совсем иная? В обрубке-наемнике — две души. Уже один этот образ — фантастический и убедительный — вбирает в себя трагические черты современного человечества.

Повесть «Зимняя война в Тибете» — не последнее произведение Дюрренматта. После нее были написаны опубликованный журналом «Иностранная литература» роман «Правосудие» (1985) и новелла «Поручение» (1986). Недавно в Швейцарии вышел еще один роман Дюрренматта, «Долина несуразиц». Наше знакомство с одним из интереснейших писателей современного мира будет продолжено.

Н. Павлова

Зимняя война в Тибете

Фантастическая повесть

Я наемник и тем горжусь. Я воюю не просто от имени Администрации, но и как исполнитель, пусть скромный, ее миссии — той части этой миссии, которая заключается в борьбе с врагами. Ведь Администрация существует не только для того, чтобы помогать гражданам, но и чтобы защищать их.

Я воюю в Тибете, где идет Зимняя война. Зимняя она потому, что на склонах Джомолунгмы, Чоой, Макалу и Манаслу всегда зима. Мы сражаемся на фантастической высоте, на глетчерах и крутых склонах, на осыпях и у берешрундов, под нависающими скалами; то в лабиринте окопов и бункеров, то на совершенно ослепляющем, ярчайшем солнце. И борьба усложняется еще и потому, что и мы, и противник одеты в одинаковую белую форму. Эта война — жестокая, неуправляемая рукопашная. Холод на вершинах и скалистых склонах дикий, носы и уши у нас обморожены.

Войско Администрации состоит из наемников всех рас и народностей Земли: рядом с огромным негром из Конго сражается малаец, белокурый скандинав — рядом с австралийским бушменом. Здесь не только бывшие солдаты, но и члены бывших подпольных организаций, террористы всевозможных идейных убеждений, профессиональные убийцы, мафиози и обыкновенные блатные. У неприятеля состав такой же.

Когда мы не участвуем в боях, то забиваемся в ледяные норы, в пробитые в скалах ходы и шахты, они связаны между собой и образуют в огромных горных массивах необозримую разветвленную сеть, так что и здесь враждующие стороны неожиданно сталкиваются и друг друга истребляют.

Опасность преследует нас везде. Даже в борделе, под Канченджангой, в «Пяти сокровищницах великого снега», с проститутками со всего света. Это примитивное заведение посещалось и неприятелем. Коменданты борделей враждующих сторон договорились между собой. Это я не в упрек Администрации: половые сношения — такая человеческая потребность, которую трудно взять под контроль. И все же некоторых из моих товарищей прикончили, когда они лежали с проституткой, в том числе и моего любимого командующего, он был моим командующим еще в последнюю мировую войну. Он уже тогда предпочитал солдатские бордели — офицерским. Хорошо помню, как снова повстречал его...

Двадцать-тридцать лет тому назад — да кто теперь считает годы! — явился я с удостоверением Администрации в один маленький непальский городок. Встретила меня тут баба-офицерша и сразу взяла в оборот. Я уже чувствовал себя дряхлым паралитиком, когда она распахнула передо мной ржавую железную дверь и снова рухнула на пол. Все произошло в пустом помещении: у стены — матрац, на полу — ее офицерская форма и мое цивильное барахло, изодранное в клочья... Дверь была настежь, в комнату набилось полно девчонок. Исцарапанный и раздраженный орущей толпой подростков, я поднялся, переступил через голую насильницу и, пошатываясь, проскользнул в дверь, не заметив, что за дверью крутая лестница. Свалившись вниз, я приземлился на бетонном полу, весь в крови, но не потеряв сознания, довольный, что лежу. Потом тихонько осмотрелся.

Я находился в прямоугольной комнате. На стене висели автоматы, белая военная форма и обтянутые белой материей стальные шлемы. За письменным столом сидел наемник неопределенного возраста, лицо — будто вылеплено из глины, беззубый рот. На нем — такая же белая форма и белый шлем, как на стене. Перед ним, на столе, лежал автомат, а рядом — стопка порнографических журналов, которые он

перелистывал.

Наконец он обратил на меня внимание:

— Вот, стало быть, новичок. Без сил, как и следовало ожидать.

Он выдвинул ящик, достал формуляр, задвинул ящик; все это медленно, степенно, складным ножом с трудом отточил огрызок карандаша, порезавшись при этом; чертыхнулся и наконец принялся записывать, испачкав, однако, кровью весь формуляр.

— Встань,— приказал он мне.

Я встал. Мне было холодно. Только сейчас до меня дошло, что я совершенно голый. Лицо и руки у меня были в ссадинах, лоб кровоточил.

— Твой номер ФД256323,— сказал он, даже не поинтересовавшись, как меня зовут.— В бога веришь?

— Нет,— ответил я.

— А в бессмертную душу?

— Нет.

— Это и не положено,— согласился он,— просто верить как-то спокойнее. А в неприятеля веришь?

— Да,— ответил я.

— Вот видишь,— сказал он,— это как раз положено! Надевай форму, бери шлем и автомат. Они все заряжены. Я повиновался.

Все так же обстоятельно он запер формуляр в ящик стола и встал.

— Ты с таким оружием обращаться умеешь? — спросил он.

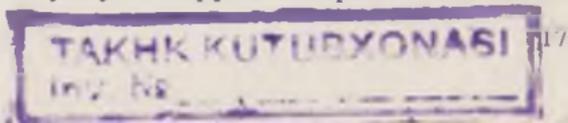
— Что за вопрос!

— Но ведь не все же такие старые фронтовые волки, как ты, Двадцать третий!

— Почему Двадцать третий?

— Потому что твой номер оканчивается на двадцать три,— объяснил он, взял со стола автомат и открыл низкую полуразвалившуюся деревянную решетку. Я, прихрамывая, последовал за ним.

Мы вошли в какую-то узкую сырую галерею. Она была



вырублена в голых скалах и лишь скудно освещалась маленькими красными лампочками, провода висели вдоль стен. Где-то шумел водопад. Раздались выстрелы, потом глухой взрыв. Наемник остановился.

— Если нам кто-нибудь попадетсЯ навстречу, стреляй, и все,— сказал он.— Может, это враг, а коли нет, тоже не жалко.

Галерея, похоже, шла под уклон, но полной уверенности не было, потому что нам приходилось то карабкаться вверх, натываясь на крутизну, то сигать вниз, в неведомые глубины. Кое-где галереи и шахты были расположены в строгом порядке и снабжены сложной системой лифтов, а кое-где все было до крайности примитивно, словно строилось в незапамятные времена и вот-вот обвалится. Нечего было и думать изучить «географию» этого лабиринта, в котором обитали мы, наемники, составить себе хоть приблизительный план. Руки мои сильно кровоточили. Несколько часов мы проспали в какой-то пещере, забравшись туда, как звери в нору.

Казалось, лабиринт распутывается. Галерея шла прямо как стрела, только непонятно куда. Иногда мы преодолевали километры, шагая по колено в ледяной воде. От галереи, по которой мы шли, ответвлялись другие. Отовсюду капало, но иногда наступала мертвая тишина и лишь гулко отдавались наши шаги.

Вдруг наемник стал двигаться осторожнее, держа автомат на изготовку: на углу нашей и другой галереи что-то просвистело мимо моей головы — я был опять на Третьей мировой войне. Пригнувшись, мы побежали вниз по какому-то подобию винтовой лестницы, деревянной, полусгнившей, с которой наемник открыл совершенно бессмысленную стрельбу по галерее — никого ведь не было видно,— пока не расстрелял все патроны.

Спустившись неглубоко, мы очутились в чуть меньше освещенной пещере, куда вели и другие винтовые лестницы,— одни шли сверху, как та, по которой мы попали сюда, другие — снизу. Из пещеры широкая галерея вела к двери

лифта. Наемник нажал кнопку. Мы прождали четверть часа.

— Как только мы выйдем из подъемника,— сказал он,— тут же бросай автомат и поднимай руки вверх.

Дверь открылась, мы вошли в подъемник — маленький, тесный, непонятно зачем обитый потертой бордовой парчой. Не помню, вниз или вверх шел лифт. В нем оказалось две двери. Я заметил это, только когда спустя четверть часа у меня за спиной раскрылась дверь.

Наемник выбросил свой автомат наружу, я последовал его примеру. Я вышел с поднятыми вверх руками, наемник тоже поднял руки.

В ужасе я остановился: передо мной в инвалидной коляске сидел безногий солдат. Вместо рук у него были протезы, левая представляла собою конструкцию из стальных стержней, переходившую в автомат. Кисть правой искусственной руки состояла из щипцов, отверток, ножей и стального грифеля. Нижняя часть лица — тоже стальная, на месте рта — шланг. Существо откатило назад, делая нам знаки автоматом, чтобы мы приблизились. Руки мы опустили.

В центре пещеры был подвешен за руки голый бородатый мужчина, к ногам ему привязали тяжелый камень. Человек этот висел неподвижно, время от времени издавая хрип. У стены — это была просто скала — на кое-как сколоченных нарах, посреди груды оружия и ящиков с патронами, в окружении коньячных бутылок сидел старый офицер гигантского роста, в расстегнутом мундире, под которым блестела мокрая от пота белая грудь, покрытая волосами. Его форма была мне хорошо знакома; я знал ее еще со времен войны. В офицере я узнал своего прежнего командующего. Он поднес ко рту бутылку и отхлебнул.

— Джонатан, кати в угол,— проговорил он, с трудом ворочая языком. Существо поехало к стене пещеры и принялось что-то выцарапывать на скале.— Джонатан у нас философ,— объяснил командир и глянул на меня. Тут его осенило.— Гансик,— захохотал он хрипло,— неужто ты меня не помнишь? Это я, твой бывший командующий.— Он за-

Он смотрел на меня молча, почти враждебно, и я ответил не шевельнувшись.

— Я на это решился.

Командующий кивнул.

— Вижу, ты все тот же храбрый постреленок, годный на все, как тогда в курортной гостинице. Теперь смотри хорошенько, детка, что и буду делать.

Покачиваясь, он медленно направился на середину пещеры и потушил горящую сигару о живот висящего.

— Ну вот, теперь ты тоже можешь помочиться,— проговорил командующий.

Наемник только застонал в ответ.

— Бедный парень больше не может мочиться,— сказал командующий,— а жаль.

И он качнул его.

— Гансик,— обратился ко мне командующий.

— Да, ваше превосходительство?

— Эта собака висит уже двенадцать часов,— сказал он и снова толкнул висящего.— Но он храбрый пес, хороший воин, сынок, которого я люблю.

Он подошел ко мне почти вплотную. Старый великан был выше меня на целую голову.

— Знаешь ли ты, кто сотворил это свинство, Гансик? — произнес он угрожающе.

— Нет, ваше превосходительство,— ответил я и щелкнул киблуками.

Командующий молчал.

— Я, Гансик,— сказал он грустно.— А знаешь почему? Потому что мой сыночек вообразил себе, будто врагов больше нет. Пользы автомат, парень. Это лучший выход для моего сыночка.

И разрядил автомат.

Теперь перед нами висела окровавленная туша.

— Гансик,— произвел командующий нежно,— пошли к лифту. И задыхаясь тут, кинул. Мне надо опять на фронт.

Одним лифтом дело не обходилось. Первый был просто шаркавый. Мы разлетелись и поклялись вконец. Напротив

висела картина: лежащая на животе голая девушка на канпе.

— Этот Буше у меня из старой Пинакотечи, — объяснил командующий. — Весь Мюнхен превратился в кучу развалин. Рай для мародеров!

Дальше подъемники становились все проще: оклеенные картинками из порнографических журналов и с нацарапанными повсюду непристойностями. Потом лифты кончились. Мы карабкались в масках, с тяжелыми кислородными аппаратами на спине вверх, по крутым шахтам — однако командир не ведал усталости. Этот великан делался все веселее — он знал бесчисленное число тайников, где был припрятан коньяк. Он совсем разозорничался и на самых трудных участках пути горланил с переливами на тирольский манер. Мы ползли все выше по низким галереям, взлетали в подъемных клетях и наконец оказались в командном бункере в нескольких метрах под Госаинтаном.

Спал я долго и без сновидений. Продырявив наемника из своего автомата, я сам стал наемником, впервые выполнив свой долг на службе у Администрации.

Наемник не имеет права задаваться вопросом, существует ли неприятель, по одной простой причине: это его убьет. Стоит лишь усомниться в существовании врага — даже подсознательно, — и ты больше не способен воевать. А если подобные сомнения завели наемника так далеко, что он отваживается задать этот вопрос вслух, ему уже нет спасения; тогда командующему и остальным наемникам приходится уже спасать все. Поэтому я и горжусь, что выстрелил. Я стрелял от имени всех.

С тех пор такие вопросы больше не задавались. Зимняя война учит наемника задавать лишь те вопросы, на которые, правда, тоже нет ответа, но в которых хотя бы есть смысл. Его не интересует, кто враг, его интересует, за что он воюет и кто отдает приказы. Эти вопросы имеют смысл, а вопрос о наличии врага таит в себе искушение отрицать его существование, хотя мы с ним ежедневно деремся, хотя он существует, ибо мы его убиваем. Война без неприятеля была бы бес-

смысленной, была бы сплошной бессмысленностью, поэтому наемник вопросов не задает, или же он сам подставляет себя под следующую автоматную очередь: единственная возможность убедиться, которая ему остается. Другой не имеется. Передаются сообщения о фантастических победах, окончательная победа не за горами, в сущности, она уже одержана, тем не менее Зимняя война продолжается.

Наемники не знают, за что воюют, за что умирают, за что им ампутировали руки-ноги в походных лазаретах, а потом снова шлют на фронт под адский огонь, кого с грубыми протезами, крюками и гайками вместо рук, кого ослепшими, вместо лица — кровавая маска. Фронт теперь всюду. Они знают одно: идет война с врагом.

Совершаются бесчеловечные и бессмысленные подвиги неизвестно во имя чего, наемники давно позабыли, что пошли на войну добровольно; они пытаются вникнуть в цели Зимней войны, создают фантастические идейные построения, чтобы понять, зачем нужна эта бойня и почему от нее, возможно, зависит судьба человечества. Лишь такого рода вопросы еще имеют для них значение.

Надежда обрести хоть какую-то цель придает им сил, в которых они так нуждаются, поиск цели помогает им вынести всю эту мясорубку. Вот почему наемник бьет не только неприятеля, но и наемника из своих собственных рядов. Так наемник познает не только врага, но и противника: наемника, который понимает смысл войны иначе, чем он сам, этого противника он ненавидит, а враг ему безразличен; с противником он по-настоящему жесток, истребляет его, а врага он просто убивает.

Так среди наемников возникают секты, и они перебегают в те, которые хоть и состоят из противников, но кажутся им более притягательными, чем прежние, где они, возможно, были едины в главном — но разошлись по второстепенным вопросам или по вариантам второстепенных вопросов: нюансы внезапно становятся для них важнее главного.

Иные секты развивают удивительные теории насчет того, кто командует сражениями, в каких горных массивах скры-

вается вражеский генеральный штаб, под Чанцзе или под Лодзе, в то время как их собственный, как им кажется, находится под Аннапурной или под Дхаулагири. Какая-то — совершенно исключительная — секта, преследуемая всеми, в том числе и неприятелем, верит в *один-единственный* штаб, обретающийся внутри трех отдаленных вершин Брод Пик. Существовала якобы даже секта — теперь совершенно искорененная, — утверждавшая, будто есть только один-единственный Главнокомандующий, дряхлый, слепой генерал-фельдмаршал, ведущий как бы войну против самого себя под огромным К-2, и будто бы обе державы подкупили его. Кроме того, вроде бы есть секта, которая верит, что этот генерал-фельдмаршал еще и помешанный. Эти разнообразные секты образуют новые фронты, сражающиеся друг против друга. Те, в свою очередь, распадаются на новые и так далее.

Дисциплина, таким образом, отнюдь не на высшем уровне, во время кровопролитных боев наемники очень часто перегруппировываются и косят своих вместо врагов, подрываются на собственных гранатах, падают, прошитые очередями из собственных автоматов, сожженные пламенем собственных огнеметов, они замерзают в ледяных расселинах, гибнут от кислородной недостаточности на фантастических высотах, где они окопались в отчаянии, не решаясь вернуться в свой лагерь из страха, что там могли возникнуть новые группировки, а между тем прибывают все новые части из разных стран, разных национальностей. Но и у врага происходит то же самое — если враг вообще существует, — себе я могу позволить этот вопрос. Командующий давно уже — я.

Когда его, голого и огромного, стащили с потаскухи, а труп убрали, я надел его форму, и наемники стали относиться ко мне с почтением.

Мне известно: наемники в курсе, что я заколол его; что это сделано по его просьбе, им знать необязательно.

— Гансик, — смеясь, сказал он перед тем, как мы отправились в бордель, и встал в своей старой пещере на том мес-

те, где два года назад подвесил наемника.— Гансик, продырявь меня из автомата. Ведь то, что враг существует,— полный идиотизм. Давай, сынок.

Я молчал, делая вид, что не понимаю его, а Джонатан в своем кресле-каталке тем временем выцарапывал какие-то каракули на стене главной галереи. Потом мы по бесконечным переплетениям ходов добрались до борделя.

Когда он застонал от наслаждения на своей потаскухе, я нанес удар. Мой командир заслужил хорошую смерть. Потаскуха заорала; остальные девки стянули его на пол и встали кругом — голые и неуклюжие. Я вытер клинок о простыню и заметил, что командующий смотрит на меня.

— Гансик,— прошептал он, и мне пришлось стать на колени, чтобы лучше слышать,— Гансик, ты учился в университете?

— На философском,— ответил я.

— И диплом защитил?

— По Платону,— ответил я,— а перед устным экзаменом как раз началась Третья мировая война.

Командующий захрипел. Не сразу до меня дошло, что он смеется.

— А я изучал литературу, Гансик,— Гофмансталя.

Я поднялся.

— Он умер,— сообщила потаскуха.

Командующий был великим командиром. Теперь он был бы мне вдвойне благодарен за то, что я его убил: борделей давно уже нет, а они были его единственной страстью, коньяк — лишь привычкой.

Теперь вместо борделей женщин берут на войну как наемниц. Должен признать, что отчаянной храбростью они превосходят мужчин, а из-за секса фронт стал еще более адским: убивают и совокупаются вповалку, без разбору. Кровь, сперма, кишки, околоплодная жидкость, потроха, зародыши, блевотина, орудия новорожденные, мозги, глаза и последы потоками катятся с гигантских глетчеров в бездонные пропасти.

Я уже привык ко всему. Безногий, сижу я на кресле-каталке в старой пещере. Рук у меня тоже нет, левое предплечье плавно переходит в автомат. Я стреляю во всякого, кто показывается здесь, галереи усеяны трупами; к счастью, еще существуют крысы. Правая рука — это целый инструментарий: щипцы, молоток, отвертка, ножницы, грифель и тому подобное — все из стали. В одной из соседних пещер — огромный склад консервов и коньяка высшего сорта; мой предшественник позаботился.

Конечно, стало тихо, автоматная левая рука мне совсем без надобности, а несколько лет назад все кругом тряслось — возможно, Администрация сбросила бомбу.

Мне все равно. У меня есть время подумать и время нацарапать мои мысли на каменных стенах с помощью стального грифеля, прикрепленного к правому протезу. Идею мне подал Джонатан, он же подсказал и метод. Каменных стен достаточно, сотни километров, местами они освещены, хотя перегоревшие лампочки больше не заменяются. Но я в состоянии — если нужно — и в потемках выцарапывать письма на скалах: про Зимнюю войну и как я в нее вступил; встречу с командующим и его смерть я уже описал; стены испещрены моими надписями; теперь я начал исписывать стены большой, главной галереи, которая вела к борделю; одна строка в двести метров длиной, потом вернусь обратно и опять напишу двухсотметровую строчку; я сделаю семь таких строчек по двести метров, одна под другой. Когда закончу здесь, то продолжу писать на противоположной стене, одолев и там двести метров, тогда примусь писать на первой стене, где закончил раньше, и дотяну опять до двухсот метров и так далее; на каждой стенке по семь двухметровых строк. Можно стать настоящим писателем.

(Длинные строки, которые невозможно прочесть. Так получилось потому, что пишущий не увидел или не мог увидеть, что выводит надписи на уже исписанной стене, и теперь ни ту, ни другую надпись нельзя разобрать. После нескольких метров неисписанной стены запись продолжается.)

...это не что-то вроде мистической притчи — то, что я здесь записываю, — и не описание бредовых сновидений какого-то с трудом слепленного из запасных частей, небоеспособного наемника — даже моя черепная коробка и та из хромированной стали. Я пытаюсь всего лишь изобразить Администрацию.

Конечно, мне могут возразить, что для изображения этой реальности мне недостает дистанции, которая позволяет судить о действительности, однако в пещерах и галереях этого чудовищного горного массива у меня уже не может быть нужной дистанции. Это неоспоримый довод. Смешно даже пытаться его опровергнуть, однако если принять во внимание тот факт, что мне, пригвожденному к креслу, остались только собственные мысли, собственные стальные протезы и бесконечные каменные стены, то станет ясно — это вынуждает меня к априорному мышлению.

То, что Администрация возникла в ходе Третьей мировой войны, было неизбежно. Законы, которым подчинено человеческое общество, я могу представить себе только как законы природы. Законы, которые будто бы открыл диалектический материализм, кажутся мне полной нелепостью. Разве законы природы можно поверить гегелевской логикой?

Идея причинности так же мало обоснована. Процесс в целом делится на пары, находящиеся друг с другом в соотношении причины и следствия; тезис о причине, которая и сама имеет причину, это пошлость, ни один процесс не обходится *одной* причиной, их бесконечно много; разве всякий процесс не указывает на *некий* другой процесс как на причину своего возникновения, скорее он связан «каузально» со всеми возможными причинами; в итоге со всей мировой историей.

Однако и тезис, который я вычитал у одного давнего забытого писателя насчет того, что закон больших чисел обуславливает примат справедливости, неверен: исходя из математических категорий, нельзя делать выводы, относящиеся к этической сфере, при этом я считаю справедливость и несправедливость чисто эстетическими понятиями. Спра-

ведливым или несправедливым образом, безногий, при помощи двух протезов вместо рук, я выцарапываю надписи на стенах своего лабиринта — безразлично, ибо ни справедливость, ни несправедливость не изменят моего положения; разве что меня развеселит сама постановка вопроса: из математических понятий следуют только выводы, относящиеся к физике или, касательно человека, к институциям. Лишь в этом случае закон больших чисел играет роль.

Подобно тому как законы термодинамики выявляются, только когда участвует «очень много» молекул, так и природный закон институций — будь то в экономике или в государстве — действует лишь при «очень большом» количестве людей; независимо от тех ценностей и идеологии, какие исповедуют эти люди, он соответствует термодинамическому закону природы. Жестокий вывод. Я выцарапываю его на скале на глубине тысяч метров под Госаинтаном.

Со времени учебы — прерванной Третьей мировой войной — в памяти у меня осталось лишь число Лошмидта *, хотя я никогда не занимался этим вопросом и даже не помню, как оно когда-то засело в голове: при 0° Цельсия и давлении в одну атмосферу в $22\,415\text{ см}^3$ идеального газа содержится $6\,023 \cdot 10^{23}$ молекул. Другими словами, число Лошмидта выражает точное соотношение объема, массы, давления и температуры какого-то газа: увеличивается масса при прежнем объеме — повышаются давление и температура; если же растет объем, а масса остается прежней, давление и температура падают. $6\,023 \cdot 10^{23}$ — «большое число». Однако оно все-таки малое по сравнению с количеством атомов, входящих в состав какой-либо звезды; я предполагаю, что это количество составляет 10^{53} .

Движение отдельного атома непредсказуемо и неисчислимо; звезды же можно исчислить, они как бы институции

* Число Лошмидта — число молекул в 1 см^3 идеального газа при нормальных условиях, $N_L = 2,68 \times 10^{19}\text{ см}^{-3}$. Число Авогадро (N_A) — число молекул или атомов в 1 моле вещества, $N_A = 6,022 \times 10^{23}\text{ моль}^{-1}$.
(Здесь и далее — прим. перев.)

атомов. Эти институты подчиняются законам, в силу необходимости деформирующим атомы. Точно так же в силу необходимости человеческие институты деформируют человека. Государство — человеческая институция. Когда здесь, во чреве Гималаев, я раздумываю о звездах, я раздумываю о государствах. Только таким образом можно в моем положении еще размышлять о человеке. У меня нет никаких отправных точек для размышлений, кроме тех, что я прихватил с собой в эту пещеру из времен, предшествовавших Третьей мировой войне, хотя мои познания складываются из неясных воспоминаний о каких-то неясных гипотезах. Я хотел бы опровергнуть мнение, будто Третья мировая война разразилась из-за того, что не существовало Администрации, способной ее предотвратить. В действительности война разразилась, потому что Администрации еще не могло быть.

Первичное солнце, первозвезда, постепенно образующаяся из разреженного газового облака — примерно как та в созвездии Ориона, — сначала огромно, диаметр соответствует световому году, плотность смехотворная (но все же для позднейшей его судьбы решающая), близкая к вакууму; состав газа: 80% водорода, 2% тяжелых элементов от взрыва Сверхновой (если нет тяжелых элементов, планеты не возникают), 1% углерода, азот, кислород, неон, остальное — гелий; момент количества движения едва 10 см в секунду, температура низкая; газ — смесь космической пыли, попадают даже «органические» молекулы из соединений углерода. Гравитация заставляет огромное солнце сжиматься, оно превращается сначала в красного сверхгиганта, его диаметр достигает светового часа, момент количества движения у него все возрастает.

Сжавшись до размеров орбиты Меркурия, до диаметра в три световые минуты, солнце в результате экваториальной угловой скорости 100 км в секунду превращается в диск и выбрасывает материю в мировое пространство. Большая часть этой выброшенной материи, прежде всего водород, остается вне силы притяжения солнца; углерод, азот, кисло-

род и неон образуют внешние, большие планеты, а железо, окись магния, кремний — внутренние, маленькие планеты; солнце уменьшилось до десятибиллионной части своего прежнего размера, превратилось в желтый карлик, его диаметр составляет теперь всего миллион километров, его экваториальная угловая скорость, затормозившаяся из-за выброса материи, снизилась до 2 км в час, состав стабилизировался.

При этом давление внутри солнца возросло примерно до 100 миллиардов килограмм на кубический сантиметр — эта тяжесть могла бы его разрушить, но температура внутри солнца достигла 13 миллионов градусов, что обеспечивает равновесие. При такой огромной внутренней температуре происходит ядерный процесс, водород превращается в гелий; полученная энергия излучается в световых квантах, но внутренность солнца абсолютно темна. При чрезвычайно высокой температуре солнечных недр свет поглощается в долях сантиметра, так кванты света в постоянных процессах излучения и захвата переносят энергию в холодные конвективные зоны, которые, словно мантия, окружают солнечное ядро; этот процесс длится около 10 миллионов лет.

В конвективной зоне горячие и холодные массы газов перемешиваются, но основной части световых квантов не удастся пробить конвективную зону, часть энергии опять излучается в центр, а энергия, достигшая зоны конвекции, вызывает в ней бурление. Внешние конвективные зоны теряют стабильность, образуются солнечные пятна, протуберанцы вздымаются вверх, в атмосферу солнца, и падают обратно на поверхность, кванты света освобождаются и, пройдя сквозь фотосферу в хромосферу, улетают через солнечную корону в мировое пространство. К уравновешенному давлению внутри солнца присоединяется равновесие внешней поверхности и равновесие энергии, фотосфера выделяет столько энергии вовне, сколько получает ее из зоны конвекции: количество энергии солнца устоялось — хотя оно теряет ежедневно 360 миллиардов тонн материи, но это пустяк при его размерах.

Однако такое идеальное состояние не может быть вечным; ядерный процесс внутри солнца проникает и в конвективную зону, поверхность солнца раскаляется, вряд ли на Земле будет возможна жизнь. Солнце увеличивается в размерах, пока опять не достигнет орбиты Меркурия: жизнь на Земле угаснет, атмосфера, моря испарятся. Поверхность солнца начнет остывать, солнце уменьшится, температура его поверхности опять повысится. Солнце снова станет таким же огромным, как сейчас, только гораздо более светлым и горячим; оно превратится в голубую звезду.

Равновесие внешнего и внутреннего давления восстановится опять, только солнце станет теперь сжигать гелий своих недр и раскалять водород, окружающий его ядро. Нагретый водород расширяется, но недостаточно быстро, чтобы совсем покинуть солнце, лишь сотая часть процента общей массы солнца уйдет в космос. Во время этого расширения солнце несколько недель светит в сотни тысяч раз сильнее, чем сегодняшнее солнце, оно превращается в Новую звезду. После тысячи подобных расширений солнце избавится от водорода, станет белым карликом не больше Земли, газ дегенерируется, лишь некоторые электроны останутся свободными, солнце исчерпает запас ядерной энергии и превратится в «молекулу». Гравитация преодолет расширение, солнце остынет, превратится в кристалл величиной с Землю, наконец — в невидимый черный карлик, только времени, которое потребуется на все это, надо больше, чем насчитывает возраст нашего Млечного Пути.

Но не все солнца ожидает подобный конец. Звезды, масса которых меньше, чем масса нашего солнца, красные карлики, наверное, никогда не могли образовать достойную упоминания конвективную зону, они преждевременно превращаются в маленькую Новую звезду, однако остаточное ядро обладает слишком малой массой, чтобы преобразоваться в белый карлик.

Звезды, масса которых превышает массу солнца в 1,44 раза, тем скорее делаются нестабильными, чем они тяжелее, долгое время не может быть достигнуто равновесие давле-

ния и поверхностное равновесие, а также энергобаланс, они слишком расточительны со своим запасом энергии, подобно голубым гигантам: огромное внутреннее давление создает в ядре температуру около трех миллиардов градусов; в этой преисподней все элементы превращаются в гелий. Чем больше масса солнца, тем скорее растет опасность, что возникнет Сверхновая. Чудовищный взрыв сметает конвективную зону солнца в мировое пространство, и при этом испускается света больше, чем галактической системой с ее сотней миллиардов солнц, в то время как ядро (если оно превышает 1,44 солнечной массы сверхпресловутой границы Chandrasekara *) не достигнет состояния равновесия белой звезды; оно под влиянием собственной тяжести сожмется, превратится в крошечное солнце невероятной плотности, диаметр которого около десяти километров и которое вращается вокруг собственной оси тридцать раз в секунду. Эта нейтронная звезда уже не может взорваться, ее атомы разрушились, атомные ядра вследствие столкновения электронов и протонов распались на нейтроны, которые образуют дегенерирующий нейтронный газ. Если ядро еще тяжелее, происходит полный гравитационный коллапс, эти особо богатые массой ядра солнца выпадают из пространства и времени, превращаясь в черные дыры, всасывающие благодаря силе притяжения свое окружение. Есть доля иронии в том, что я в полной темноте, окружающей меня со всех сторон, записываю на стенах галереи звездный исход.

(Запись прерывается, продолжение на стене другой галереи.)

Не смог вернуться в главную пещеру — не нашел. Я понятия не имел, по какой галерее катил в своем кресле, на которой стене выцарапывал свои надписи. Продукты, банки дешевого бульона, я раздобыл в одной из пещер — namного

* Субрахманьян Чандрасекар — американский физик и астрофизик.

меньшей, чем та, командирская. Нашел лифт, который уже не работает, стены голые, никакого тебе Буше.

Я несколько дней трудился, чтобы прикрепить ящик с консервами правым протезом к своему креслу,— ведь очень трудно что-нибудь отыскать в потемках с помощью протеза, а левая, «автоматная» рука стала совершенно ненужной. Все пытаюсь разобрать ее, однако пока тщетно. Тащу ящик с концентратами за собой и порой не имею представления, в какую сторону двигаюсь, иногда я останавливаюсь, чтобы делать записи на стенах, записи, которые я не мог прочитать, однако записывать было необходимо; я не астроном и не физик, и мои познания о звездах весьма приближительны. Перед Третьей мировой войной я прочел на эту тему несколько книг, теперь наверняка устаревших. Пытаюсь припомнить их содержание и воссоздать в памяти эволюцию звезд. Поэтому представляю три варианта своих записок.

(До сих пор, правда, найден лишь один вариант, который состоит из надписей на стенах многих галерей, но, возможно, надпись составляют все три варианта.)

Во время записи последнего варианта я, видимо, окончательно заблудился. Уже и вторую пещеру я найти не смог. Ничего: найдутся другие. Так что я отправляюсь дальше. Предполагаю, что все еще нахожусь под Джомолунгмой. Камень здесь гладкий, я по возможности аккуратно выписываю на нем свои мысли.

И не только мысль о черной дыре развлекает меня: Джомолунгма раньше называлась Гауризанкар, так что под Гауризанкаром я раздумываю о законе Чандрасекара. Может, именно по этой причине я угодил на Зимнюю войну: меня соблазнило это имя. Судьбы, если обдумать все задним числом, вполне закономерны, логичны. Железо для протезов моего залатанного тулова и гора-великан Гауризанкар происходит от одного и того же солнца, которое пренебрегло границей Чандрасекара и превратилось в Сверх-

новую, шесть миллиардов лет тому назад загрязнившую протосолнце и способствовавшую тому, чтобы родилась на свет наша Земля: большая часть того, из чего я состою, старше Земли.

С глубоким почтением выписываю я на камнях имя «Чандрасекар». Некоторые наблюдения указывают на то, что в недрах солнца произошли изменения, которые в течение последующих десяти миллионов лет сделают Землю необитаемой на все времена, но остается какой-то шанс, что на луноподобной Земле пребудут в неприкосновенности Гималайские горы, ведь на Луне тоже существуют горы. И еще есть совсем уж смехотворно крохотный шанс, что за многие миллиарды лет, когда выгоревшая дотла Земля вращалась бы вокруг белого карлика, как именуется теперь наше солнце, и за неисчислимые миллиарды лет, когда бы она вращалась вокруг солнца, превратившегося в черный карлик, астронавты того, другого, будущего мира посетили бы Землю. И еще есть один, совсем уж невероятный шанс, шанс, собственно говоря, ничтожный, что эти неведомые существа откроют систему пещер в Гималаях и изучат ее. Мои записи — единственное, что они узнают о человечестве.

В надежде на такой невероятный случай я и пишу все это. В моем положении не может быть иной цели. Я задумал создать письма, по которым можно прочесть судьбу человечества: эти письма не частное дело, не что-то, касающееся только меня, раз я принадлежу к человечеству, да, но здесь не должно быть ничего, что касается человечества. Существа, которые прочтут надпись через неисчислимые миллиарды лет, ничего бы тогда не поняли, потому что наверняка были бы, если бы все-таки случилось невероятное и они прочли бы эти записи, не людьми: природа (как она ни тупа) вряд ли повторит глупость, снова создав приматов, случайность, которая в конце концов привела к формированию нашей породы, вряд ли произойдет во второй раз. С этими существами говорить о нас нельзя, можно говорить только о том, что касается одинаково их и нас: о звездах.

Из моих писаний они, конечно, ничего не почерпнут о наших религиях, идеологиях, культурах, искусствах, чувствах, столь же мало о том, как мы питаемся и размножаемся, и все-таки по всем моим трем записям они смогут судить о наших мыслях, независимо от того, какую чушь я здесь напишу. Они смогут догадаться о состоянии наших познаний, а также о том, что мы обладали атомной и водородной бомбами и что это привело к Третьей мировой войне. Они разгадают код моих записок, потому что человек описывает в конечном счете всегда одно и то же: самого себя. Пришельцы заключат из всего этого, что на голой, обожженной, каменистой планете, на которую они ступили, когда-то существовали наделенные разумом существа, которые в своей совокупности переступили границу Чандрасекара.

Как солнце — средоточие водорода, так государство — средоточие людей. И то и другое подчиняется сходным законам. И то и другое стабильно, когда устанавливается равновесие давления, энергии и поверхности. И в том и в другом случае действуют силы гравитации. Они постепенно образуют ядро, а вокруг него — зону конвекции. Сначала процесс идет незаметно: ядро и зона конвекции протосолнца лишь едва развиты, они только предпосылка к дальнейшему.

Относительно государства: зона конвекции представляет собой органы власти, ядро — народ. Как-то раз отправился император со своим канцлером на телеге, запряженной волами, от обители к обители, от города к городу, чтобы собрать себе на прокорм. Император и его канцлер — это власть: эта их Священная римская империя германской нации схожа с протосолнцем. Примерно через пятьсот лет это протосолнце стало нестабильным, превратилось в Третий рейх. Однако ни к чему далее приводить подобные исторические, а значит — непонятные примеры.

Функция государства изначально состояла в том, чтобы обеспечивать внешнюю оборону, внутреннюю оборону, а также защиту от самих защитников, ради которых отдельный человек уступал свою власть государству. Если сравнить

эту функцию с равновесием давления, энергии и поверхности стабильного солнца, можно уяснить себе отношение государства к каждому отдельному человеку, а также отношения отдельных людей между собой.

Равновесие давления в стабильном государстве состоит в том, чтобы каждый отдельный человек существовал как можно свободней, а именно так же свободно, как это возможно по отношению к отдельным людям, чем больше их масса, тем ограниченнее свобода каждого: давление на каждого растет, и при этом растет температура внутри массы, она начинает все более ощущать воздействие государства, эмоции против власти высвобождаются и т. д.

Энергобаланс солнца достигается тогда, когда оно перерабатывает в энергию материи не больше, чем в состоянии излучать, в государствах — когда они производят не больше, чем расходуют. Энергобаланс нарушается, если давление падает или если оно возрастает. Например, на голубом гиганте, подобном S-Doradus, что в восемьдесят тысяч раз ярче солнца, конвекционная зона слишком слаба; поэтому давление внутри недостаточно, звезда беспрепятственно перерабатывает материю своего ядра в энергию, она рассеивается. Существовали и подобные государства.

В большинстве из них перед Третьей мировой войной, конечно, одержал полную победу аппарат власти. Мощь государства возрастала. Особенно сверхтяжелые государства стали меньше отдавать, чем потребляли. Они сделались пленниками собственного аппарата. Энергобаланс устанавливается лишь в том случае, когда предложение соответствует спросу.

На голубом гиганте — солнце со слабой конвекционной зоной, хотя она по сравнению с конвекционной зоной нашего солнца намного сильнее, — предложение превышает спрос, и потому в недрах подобной звезды происходит невероятная конкурентная борьба. То же самое долгое время наблюдалось перед Третьей мировой войной в индустриально развитых странах.

На сверхтяжелом солнце, напротив того, спрос начинает

опережать предложение, и хотя оно перерабатывает свою материю в энергию, однако та поглощается конвекционной зоной. Подобное государство разрушается при помощи своего собственного аппарата. Органы власти нуждаются в оружии, чтобы охранять себя от внешних и внутренних врагов. Они нуждаются не только в оружии, но и в идеологии, которая воздвигает могучее духовное силовое поле. Конвекционная зона не допускает какой-либо иной идеологии, кроме собственной. Те, кто думает иначе, объявляются антиобщественными элементами или сумасшедшими, даже преследуются как изменники родины. Тем самым подобное государство увеличивает свою плотность и давление вовнутрь. Ядерный процесс, происходящий среди большей части населения, только на руку государству, то есть его аппарату управления, который постоянно увеличивает свой потенциал, и не из злого умысла, а из-за собственной беспомощности. Сверхтяжелые государства насквозь плановые. Энергобаланс становится невозможным, так как внутреннее давление может лишь повышаться, а не понижаться, что ведет к гравитационному коллапсу.

Такова была политическая ситуация перед Третьей мировой войной. Сверхтяжелые звезды (сверхдержавы) не собирались завоевывать мир, однако они выжимали его благодаря своей тяжести. Их гравитация как бы всасывала излучающуюся энергию голубых гигантов, те уменьшались в размерах, и их давление увеличивалось; выведенные из экономического равновесия, голубые гиганты «социализировались», превращаясь в свою очередь в сверхтяжелые солнца — независимо от хозяйственной, общественной и идеологической структуры, ведь и «свободные» государства начали увеличивать внутреннее давление, издавая указы против инакомыслящих.

Процесс стал необратимым. Гонка вооружений шла вовсю. Каждое государство производило больше, чем расходовало. Внутреннее давление в каждом государстве дошло до предела. Излишнее давление в ядре солнца привело к вырождению общества. Большие семьи разрушились, на смену им

пришли маленькие семьи, и те становились нестабильными, склеиваясь в коммуны или общежития, которые тоже разваливались. Началась всеобщая лихорадка, безумная кутерьма, происходила безжалостная борьба за существование, порождаемая неумной жадной жизни.

Общество все больше распадалось на два класса: на тех, кто осел в конвекционной зоне и обеспечил себя надежной защитой, и на тех, кто невозбранно подвергался давлению и действию громадной температуры солнечных недр. Однако огромная энергия недр, что возникла в результате всей этой лихорадки, снова и снова впитывалась конвекционной зоной, государственным аппаратом, который нуждался во все больших налогах, чтобы силой удерживать солнечные недра. Политика разыгрывалась лишь на поверхности, не затрагивая ядерных процессов внутри, она превратилась во фразу, таким образом, и то, что происходило в недрах, вышло из-под контроля, давление стало слишком высоким, конвекционная зона подвергалась толчкам изнутри, возникали мощные экономические империи, потом они рушились, свирепствовали кризисы, инфляция, неслыханная спекуляция, с взрывной силой росли безумные теракты, уголовные преступления, угроза катастроф. Государства дестабилизировались.

Беспомощная перед такими чудовищными выбросами протуберанцев, политика стала циничной, а следовательно, как всякая омертвелая религия, превращалась в культ, наконец — в оккультизм. Проповедовали то классовую борьбу, то либерализм, не подозревая, что все зависит от того, как масса преобразуется в энергию, не задумываясь о том, как ведет себя народ, когда он превращается в массу: непредсказуемо. Провозглашалось социальное государство, либеральное государство, а также государство всеобщего благоденствия, христианское, иудейское, мусульманское, буддийское, коммунистическое, маоистское — без малейшего понимания, что перенасыщенное государство так же опасно, как и сверхтяжелая звезда.

Вот оно и случилось — грянула Третья мировая. Непред-

виденное воздействие водородной бомбы на нефтяные промыслы было еще как бы символическим предупреждением, что дело идет к превращению в Сверхновую, не говоря уже о воздействии других бомб.

Внутреннее давление, а следом и внутренняя температура сделались огромными, поверхностное равновесие ослабло, огромные конвекционные зоны, давно под контролем чрезмерно вооруженной армии, как и части государственного аппарата, летели в мировое пространство, и катастрофа была тем неудержимей, что солнце здесь граничит с другим солнцем, в то время как в космосе средняя дистанция между звездами достигает трех с половиной световых лет.

После превращения в Сверхновую состояние такое: человечество вроде нейтронной звезды. В немногочисленных пригодных и приспособленных для жилья местах ютятся остатки людей, сколько народу погибло в одном лишь «Сахарском эксперименте»... В конце концов Земля превратилась в единую конвекционную зону, астрономически сравнимую с «дегенерированным нейтронным газом», в какую-то единую тотально управляемую массу, в такую Администрацию, где управители и управляемые неотделимы друг от друга.

Правда, человечество, как и нейтронная звезда, сохраняет свое количество движения, свою агрессивность. Чтобы разрушиться, звезде требуется время, а человечеству понадобилась Зимняя война в Гауризанкаре: в ней бились друг против друга те, чьей агрессивности требовался образ врага. Предлог для войны в таком случае всегда найдется. (Перед Третьей мировой войной призывы террористов принимали дикие формы, стали разновидностью самогипноза. Они действительно вообразили, будто борются за мировое братство. Если бы они его достигли, то померли бы со скуки.) Осуществился расчет Чандрасекара.

Но, прежде чем продолжать, должен сделать одну оговорку, так как пришельцы тоже могут привести этот довод, если когда-нибудь прочтут мои записи: материя подвержена энтропии и стремится к своему наиболее вероятному

состоянию. Вначале сгусток всей материи занимал пространство, равное траектории Нептуна: столько места требовалось элементарным частицам Вселенной, пока они были притиснуты друг к другу. Это состояние материи было для нее самым невероятным. А вероятнейшее состояние материи — ее конец: на 95 процентов материя излучилась, остатки звезд существуют в виде черных Красных, черных Белых карликов, черных дыр, в массе мертвых планет, астероидов, метеоров и т. д.

С жизнью все наоборот: условия, в которых она возникла, хотя и были тоже невероятными, но эта невероятность породила самое вероятное — вирус, потом одноклеточных. Начиная с них, жизнь становится все невероятнее, мыслящие существа — самое невероятное, ибо это самое сложное существо во Вселенной.

Это существо, казалось бы, противостоит всемирной закономерности: энтропии, тем более что в течение трех миллионов лет оно превратилось из редкого вида в массу, равную шести миллиардам. Но видимость обманчива: чем невероятнее сама жизнь, тем вероятнее ее конечное состояние — смерть. Вирус, да и одноклеточные могут жить вечно; животные, правда, должны умереть, но они этого не знают. А человек знает, что умрет, поэтому его смерть — это нечто большее, чем наиболее вероятный конец, это осознанный конец. Смерть и энтропия — это одна и та же всемирная закономерность, они идентичны; ведь мы, люди (это слово ничего вам не говорит), и вы, те, что все это будете читать, идентичны, вы тоже умрете.

(Следующие записи в другой галерее.)

Администрация исходит из закона *homo homini lupus est*: человек человеку волк. Как ни странно, я подумал о глухонемом; когда я высекал эту фразу на камне, мне вдруг пришло в голову, что, возможно, глухонемой — это Джонатан. Бессмысленное подозрение, которое, может быть, возникло лишь потому, что я уже второй раз вспоминаю

Джонатана в связи с глухонемым. Ведь Джонатан пропал, когда я отправился в пещеру командующего. Не исключено, что он, подобно мне, царапает где-нибудь на стенах галерей.

Глухонемого я встретил после Третьей мировой войны в моем старинном родном городе: еще перед тем как разразилась война, правительство, государственные чиновники и оба парламента удалились в большой бункер под Блюмли-зальпом. Возможно, защищенность против всякого нападения органов власти (законодательной и исполнительной) — необходимая предпосылка для обороны страны. Здание парламента в бункере было копией столичного, включая секретные устройства и радиостанцию. Даже окружающий пейзаж скопировали и сконструировали декораторы из городского театра при помощи увеличенных фотографий и прожекторов. Вокруг этого сооружения были возведены жилые дома, кинотеатры, часовня, бары, кегельбаны, больница и Фитнис-центр. Далее шли как бы три «кольца»: кольцо снабжения с продовольственными магазинами и винными погребами (особенно в кантоне Во), затем внутреннее и внешнее оборонительные кольца. Под всем этим гигантским комплексом — сокровищница, полная золотых слитков почти со всего света, а под нею — атомная электростанция.

Правительство и парламента заседали непрерывно. Учреждения работали на полную мощность.

Когда я получил тайное задание и явился доложить о своем отъезде, официально приняв на себя функции офицера связи при командующем, они как раз только что выработали новую концепцию обороны страны, и было решено в течение последующего десятилетия создать сто танков «Гепард-9» и пятьдесят бомб «Вампир-3». Я отдал честь, правительство и обе палаты парламента встали и запели «Заре навстречу!». Настроение было подавленное.

Ведь никто не думал, что Третья мировая война разразится, несмотря на мобилизацию, была надежда, что наличие

бомб этому помешает, а бомбами обладали уже все, и мы тоже. Вопреки упорной борьбе прогрессивных сил, противников атомного оружия, несмотря на уклонение от военной службы, протесты церковников и тому подобных кругов, мы создали бомбу — но только после королевства Лихтенштейн, — а у всех африканских стран она давным-давно уже была!

Итак, нас убеждали, что если и будет война, то лишь обычная, но в такую войну мы не верили, потому что, во-первых, создание бомбы стоило так дорого, что мы оказались плохо вооруженными для ведения обычной войны, а во-вторых, потому что бомба была создана именно с целью воспрепятствовать обычной войне. Но особенно нас тяготила внешнеполитическая зависимость. Мы продолжали подтверждать свою позицию вооруженного нейтралитета, однако нас не оставляло все растущее чувство угрозы, что ни та, ни другая сторона не верят в наше священное политическое кредо. Для одних мы примыкали к милитаристскому лагерю, а для других являлись потенциальным военным врагом.

Свою армию, достигшую восьмисот тысяч, мы были вынуждены передислоцировать на восточную границу, иначе действия западных держав стали бы непредсказуемыми, они могли бы счесть этот участок фронта ослабленным. К тому же нельзя забывать, что население не доверяло правительству и солдаты участвовали во всем этом, лишь исполняя воинский долг: с некоторых пор уклоняющихся от службы в армии мы были вынуждены приговаривать к пожизненному тюремному заключению; от расстрела, которого требовало военное министерство, их спасало лишь помилование. Отношение населения к правительству стало прямо-таки враждебным. Народ знал: правительство, государственная власть, парламент — всего пять тысяч человек — находятся в безопасности под Блюмлизальпом, однако безопасность остальных не обеспечена. К счастью, мобилизацию провели до всеобщих выборов.

Третья мировая война началась, и в первые два дня шла

как обычная, а для нашей армии впервые с 1512 года, со времени завоевания Милана, и как вполне победоносная. Когда огромная бомба упала на Блюмлизальп, а другие крупные бомбы — на правительственные убежища других стран (цепная реакция от удара к удару), мы задержали русских при Ландеке, при их вступлении в северную Италию.

Сообщение о капитуляции союзнических и вражеских войск дошло до командующего, когда он находился в курортной гостинице в Нижнем Энгадине. Мы расположились в удобных креслах посреди большого холла, а вокруг нас — штаб. Выбор напитков был еще богатый. Настроение — боевое. Командующий предавался музыкальным пристрастиям. Струнный квартет играл Шуберта, «Смерть и девушка». И тут офицер для поручений вручил телеграмму.

— Ну-ка, Гансик, прочти эту бумажонку вслух, — улыбнулся командующий, пробежав телеграмму глазами.

Торжествующие вопли неслись с улицы: содержание телеграммы стало известно через радиста. Командующий схватил автомат. Я встал. Квартет замолк. Я прочитал телеграмму вслух. Реакция была бурной. Квартет заиграл Венгерскую рапсодию Листа. Офицеры ликовали и обнимались.

Автомат командующего скосил их начисто. Он разрядил три магазина. Зал представлял собой неопишущую мешанину из трупов, искромсанных кресел, осколков стекла, разбитых бутылок из-под шампанского, виски, коньяка, джина и красного вина; квартет наяривал что было силы *andante* «*con moto*» из квартета Шуберта, вариации на тему: «Не бойся. Я не дикарь, спокойно спи в моих объятиях».

Уже в джипе командующий сказал:

— Все они засранцы и изменники родины. — Тут он еще раз обернулся и расстрелял музыкантов.

В Скуоле мы попрощались. Командующий направился в Инсбрук, а я в Верхний Энгадин.

Недалеко от Цернеца на обочине дороги я насчитал более трехсот офицеров, аккуратно уложенных в ряд, от командира корпуса до лейтенанта, все они были расстреля-

ны своими солдатами. Проезжая мимо, я им отсалютовал.

Санкт-Мориц был опустошен и разграблен, полыхали отели, шале знаменитого дирижера выпускало клубы дыма. Я оделся в штатское, в одном шикарном магазине мужской одежды выбрал джинсовый костюм, на котором еще болтался ярлычок с ценой — 3000, в обычном магазине он не стоил бы и 300; из персонала никто не показывался. Горючего достать было негде.

Я оставил свой джип, а в нем и оба автомата, зарядил револьвер, нашел какой-то велосипед и покатил через перевал Малоя. После горного перевала — первая ясная ночь, темная часть луны отсвечивает зловеще-красным; на земле бушуют многочисленные пожары.

В маленькой деревеньке неподалеку от бывшей границы я стал искать себе пристанище. Деревенька тонула в полумраке, а противоположная сторона долины алела киноварью.

Я прокрался к какому-то дому, который сперва принял за нежилой сарай. Позади него находилась лестница. Я поднялся наверх. Двери легко открылись. Внутри было темно, и я осветил себе карманным фонариком. Я оказался в мастерской художника. У стены стояла картина: разные фигуры, как бы разбросанные, пустое пространство картины было таинственным, слабо натянутый, чуть загрунтованный холст походил на сеть, в которой запутались люди. Картина у другой стены изображала кладбище: белые надгробья, и среди них втиснут портрет человека, больше натуральной величины. Странно — будто в силу подспудного протеста художник намеренно разрушал свое творение: казалось, в этом ателье уже свершилась гибель мира.

Посреди ателье стояла жуткая железная кровать, на ней — полосатый матрац с торчащим из него конским волосом. Рядом с кроватью — древнее, изодранное, заклеенное разноцветными заплатками кожаное кресло. У задней стены под окном стояла картина, изображавшая дохлую

собаку и терявшаяся в бесконечности охры. Потом я обнаружил портрет человека, похожего на командующего. Он лежал на постели, голый и толстый, спутанная борода спускалась на грудь, подпираемую вспученным животом, правый бок, где печень, вспух, ноги раскинуты в стороны, а взгляд гордый и безумный.

Я замерз. Вырезал картину из рамы, улегся на кровать, а воняющий краской холст приспособил вместо одеяла.

Проснулся я в грязном сумраке утра. Схватился за револьвер. Перед пустой деревянной рамой, из которой я вырезал холст, стояла одетая в черное старая женщина в грубых башмаках. Нос у нее был острый, седые волосы забраны в пучок. В руках она держала большую пузатую чашку. Она смотрела на меня немигающими глазами.

— Ты кто? — спросил я. Она не ответила.

— *Chi sei?* * — спросил я по-итальянски.

— Антония, — ответила старуха.

Она церемонно подошла ко мне и протянула чашку с молоком. Я выпил его и вылез из-под холста.

Глядя на меня, она рассмеялась: «*L'attore*» **, а когда я прошел мимо нее, торжественно заявила:

— *Non andare nelle montagne. Tu sei il nemico* ***.

Она помешалась, как и многие другие.

Я вышел на улицу. Мой велосипед украли, жители покинули деревню, граница не охранялась. Городок Кьявенна был разграблен турецкими офицерами, которые пытались спастись от своих рядовых. В каком-то гараже я взял мотоцикл. Владелец глядел на меня равнодушно, у него изнасиловали и убили жену и двух дочерей.

На перевале Шплюген я сбросил русского офицера в водохранилище, мотоцикл утопил тоже. Офицер неожиданно напал на меня, когда я приостановился, любуясь на атомный гриб, который поднимался на небе с запада. Я впервые видел его.

* Кто ты? (итал.)

** Артист, художник (итал.)

*** В горы не ходить. Ты враг (итал.)

Через некоторое время я наткнулся на разбитый вертолет, обыскал его и нашел бумаги, принадлежавшие русскому. Забыл, как его звали, помню только, что родом он был из Иркутска.

Тузис был опустошен. До меня начинало доходить, что произошло в нашей стране.

Два года понадобилось мне на то, чтобы добраться до пункта назначения. Это уже о многом говорит. Поэтому достаточно лишь упомянуть о моих скитаниях в аду того времени: люди, выжившие после взрыва бомбы, если кто-то вообще еще выжил, всю ответственность за Третью мировую войну взвалили на науку и технику. Не только атомные электростанции, но и плотины, и обычные электростанции оказались разрушенными, сотни тысяч погибли при наводнениях, в потоках ядовитых газов, испускаемых горящими химическими заводами, — ярость населения против этих заводов не знала удержу. Повсюду взорванные бензоколонки, горящие легковые машины, ставшие ненужными радиоприемники, телевизоры и проигрыватели, стиральные машины, пишущие машинки, компьютеры — все эти предметы были разбиты; музеи, библиотеки, больницы — уничтожены. Это выглядело как самоубийство целой страны. Кур, к примеру, превратился в настоящий сумасшедший дом. В Гларусе сжигали «ведьм», машинисток и лаборанток. Жители города Аппенцель разорили монастырь Св. Галлена под тем предлогом, что христианство породило науку. При пожаре погибла ценнейшая библиотека вместе с «Песней о Нибелунгах». В огромной мусорной куче, оставшейся на месте Цюриха, власть захватили рокеры. Они утопили в реке Лиммат прогрессистов и социалистов вместе с профессурой и ассистентами обоих цюрихских высших учебных заведений. В развалинах театра собиралась секта верующих в теорию полого земного шара. Жрицы этой секты были беременны. Они произвели на свет чудовищных уродов, которые были рождены, а затем убиты прямо на сцене. «Богослужение» превратилось в оргию. Верующие накидывались друг на друга в надежде

произвести на свет еще более ужасных потомков. В Ольтене на огромном помосте повесили тысячи учителей младших и старших классов. Их согнали со всей страны.

В Граубюндене тем временем начался уже «великий мор». Если сначала люди предавались неопишущему разгулу, грабили, разрушали, истребляли все, что попадалось под руку, разжигали страшные пожары, останавливали всякое движение, то потом они впали в апатию. Их охватила свинцовая усталость. Они сидели у развалин своих домов, которые разрушили своими руками, неподвижно уставившись прямо перед собой, ложились где попало и умирали. Мало-помалу разрушения прекратились. Уже не оставалось автомобилей, дорог — одни руины, чудовищные скопления продуктов, заготовленных для восьмимиллионного населения, насчитывающего теперь не больше ста тысяч. Рядом с людьми гибли животные. На полях горами лежали трупы. Зато птицы страшно расплодились.

Люди торжественно предавали мертвых земле. Сколачивались гробы, но их все время не хватало, тогда грабили старые кладбища, выкапывали то, что осталось от старых гробов, или закапывали умерших в шкафах. Похоронные процессии без конца; в страшной жаре, не спадавшей и осенью, люди шагали, одетые в черное, вслед за гробами или тянули на длинных канатах тачки, на которые рядами были уложены гробы. Справлялись роскошные поминки. Для большинства они становились последним пиршеством. Потом хоронили и этих, и похоронные шествия, все реже, тянулись к новым кладбищам. Казалось, народ хоронил сам себя.

Потом наш склад бомб в Шраттенфлу загорелся сам собой. По пути через Эмменталь мне встретилась деревня с большой молочной фермой. Она была чистенькая, ухоженная, на окнах стояла герань огненного цвета, а улицы — совершенно пустые. Я вошел в трактир под названием «У креста». В зале для гостей никого не оказалось. В кухне на полу лежал мертвый хозяин, настоящий гигант, с лицом, выпачканным мороженым. Я вошел в сто-

ловую. Примерно сотня человек сидела за празднично накрытыми столами: мужчины, женщины всех возрастов, девочки и мальчики. За длинным столом посреди зала — жених и невеста. Невеста в белом подвенечном наряде, бок о бок с женихом — крупная женщина в бернском национальном костюме. Все они были мертвы и выглядели чрезвычайно умиротворенно в своей воскресной одежде. Тарелки почти пустые, надо было подложить еще еды. В проходах между столами лежали мертвые девушки-официантки. На столах возвышались огромные бернские блюда: деревенские окорока, свиные ребрышки, копченое мясо, шпиг, языковая колбаса, фасоль, кислая капуста, соленый картофель. Около невесты было отодвинуто кресло, а на полу лежал пожилой мужчина, роскошная борода накрыла его грудь словно покрывало. В правой руке он держал лист бумаги, я заглянул в него — это оказалось стихотворение. Взяв кресло, я уселся рядом с невестой и положил себе на тарелку еды с бернского блюда — она была еще теплая.

И вот я нерешительно высекаю эти свои воспоминания на стенах галереи: они во многом стали мне казаться невероятными. Так, в памяти у меня осталась прежде всего жара, не спадавшая всю зиму напролет; а когда я мысленно возвращаюсь в те времена, то мне всегда видится мощное наводнение. До своего родного города я добрался пешком по пустынной автостраде. Чем ближе подходил я к городу, тем безлюднее становилась страна. Автострада километр за километром заросла травой, пробившей бетон; я шел мимо скопления автомобилей, покрытого пыльным плющом. Однажды мне почудилось, что в небе летит самолет, он летел так высоко, что его не было слышно.

Добравшись наконец до города, я увидел, что предместье в руинах: никому теперь не нужные торговые центры, выгоревшие коробки многоэтажных зданий. Я сошел с автострады. В лучах заходящего солнца передо мной предстал старый город. Расположенный на скалистом хребте, воз-

вышаюшемся над рекой, он казался невредимым. Стены пронизывал теплый золотистый свет. Город был так чудесно прекрасен, что при воспоминании о нем тускнеет даже вид на Макалу и Джомолунгму. Однако мосты, ведущие к нему, оказались разрушенными. Я вернулся на автостраду, по ее обломкам мне удалось пересечь реку. Теперь атомный гриб стоял на юге. Он постепенно превращался в светящийся колпак, накрывший Альпы и освещавший ночное небо, в то время как я углубился в лес.

Бункеры были в целости и сохранности, кровати аккуратно застелены. Я стал ждать. Бюрки не пришел. Я заснул.

Наутро я отправился во Внутренний город. Университет представлял собой сплошные руины, аудитория, в которой занимался прежде философский семинар, обуглилась, фасад обрушился, книги превратились в черную слипшуюся массу. Стол, за которым мы сидели, развалился. Сохранилась только доска. Перед ней стоял какой-то мужчина. Он стоял ко мне спиной, засунув руки в карманы поношенной шинели.

— Хэлло,— обратился я к нему. Мужчина не пошевелился.

— Эй,— крикнул я.

Казалось, он не слышит. Я подошел и коснулся его плеча. Он повернулся ко мне лицом. Оно было сожжено облучением, лишено всякого выражения.

Взяв кусок мела, лежавший у доски, он написал: «Огнестрельная рана в голову. Глухонемой. Читаю по губам. Говорите медленно». И обернулся ко мне.

— Кто ты? — спросил я медленно.

Он пожал плечами.

— Где находится служба обеспечения солдат? — спросил я.

Он взял мел и написал на доске: «Тибет. Война». И глянул на меня.

— Служба обеспечения солдат,— повторил я медленно, по слогам,— где она?

Он написал «60231023», непонятное число, которое запомнилось только потому, что, будучи офицером, я привык запоминать номера: шестьдесят, двадцать три, десять, двадцать три. Он смотрел на меня. Его обгоревшие губы дрожали. Непонятно, издевался он или улыбался. Я постукал себя по лбу.

Глухонемой написал: «Соображай, достаточно ясно» — и опять уставился на меня.

Я взял у него мел, стер все, что он написал, сам написал «Ерунда», кинул мел на пол, растоптал его и бросился прочь из университетских развалин.

Неподалеку от сгоревшей столовой мне попался навстречу какой-то маленький человечек. На правой щеке у него была большая черная язва. Он толкал тележку с книгами.

— С семинара по немецкой литературе, — сказал он, показывая в сторону сплошных развалин за университетом. Книги ему еще удалось найти. Я взял одну с тележки — «Эмилия Галотти».

— Я переплетчик, — объяснил человечек, — со мной работает еще печатник. Мы выпускаем книгу, сто штук, потом еще сто штук. Люди снова читают, становятся настоящими книжными червями. Выгодное дельце! — Он засветился от удовольствия. — Я не умру. Ведь выжил. А на щеке у меня обыкновенная меланнома.

Я сказал, что Лессинг сложноват для чтения. Он спросил, кто такой Лессинг. Я указал ему на книгу.

— Вот эта? — удивился он. — Это не для чтения, а для сожжения. Выпускаю я «Хайди» Джоанны Спайри. Запомните имя: Джоанна Спайри. Классика. — Тут он подозрительно взглянул на меня: — Ты солдат?

Я кивнул.

— Офицер? — спросил он с угрозой в голосе.

Я помотал головой.

— А раньше что делал?

— Учился в университете.

Посмотрев на свою тележку, он мрачно уточнил:

— Читал такие вот книги?

— Да, и такие тоже,— ответил я.

— Черт-те что вы натворили с вашим образованием! — проворчал человек.— Вы, с вашими дурацкими книжонками...

Я спросил, где находится служба обеспечения солдат.

— Рядом с ратушей,— ответил он,— может, ты все-таки был офицером?

И он засеменял дальше, толкая перед собой тележку.

Я пошел обратно через развалины. В разрушенной аудитории нашего семинара я сумел отыскать лишь куски из «Трагической истории литературы» и несколько страниц из предисловия, в которых шла речь об основных понятиях эстетики.

Вокзал за университетом был сплошной кучей мусора. Дома, больницы, торговые улицы находились в полном запустении, окна магазинов выбиты. Кафедральный собор стоял на месте. Я подошел к главному portalу и увидел, что «Страшный суд» уничтожен.

Я шел по среднему нефу собора, а за спиной у меня, барабаня по полу, падали капли воды.

У входа на галерею, прислонившись к стене, стоял какой-то оборванец.

— Когда жизнь в опасности, ведь это бодрит, верно? — обратился он ко мне.

Я поинтересовался, кто уничтожил «Страшный суд».

— Я,— ответил мужчина,— «Страшный суд» нам теперь без надобности.

Служба обеспечения солдат находилась неподалеку от ратуши, в бывшей часовне, как мне смутно помнилось. Вокруг стен лежали несколько матрацев и стопка шерстяных одеял. Вокруг каменной купели стояли три стула, а на камне лежал кусок торта. На стенах виднелись бледные следы фресок, но разобрать, что они изображали прежде, было трудно. В часовне никого не было видно.

Я несколько раз прошелся туда-сюда. Никто не появлялся. Тогда я приоткрыл какую-то дверь рядом с ку-

пелью. Вошел в ризницу. За столом сидела толстая старуха в металлических очках и ела торт.

На мой вопрос, здесь ли находится служба обеспечения солдат, она ответила, уплетая за обе щеки:

— Я — она и есть, — и, проглотив кусок, в свою очередь спросила: — А ты кто такой?

Я назвал свое кодовое имя:

— Рюкхард.

Толстуха задумалась.

— У моего отца была книга какого-то Рюкхарда, — сказала она, — «Брамсовы мудрости».

— «Мудрости брахманов» Фридриха Рюккерта, — поправил ее я.

— Возможно, — сказала женщина и отрезала себе еще кусок торта.

— Ореховый, — объяснила она.

— А где комендант города? — спросил я. Она продолжала есть.

— Армия капитулировала, — проговорила она, — коменданта больше нет. Теперь есть только Администрация.

Я тогда впервые услышал про эту Администрацию.

— Что вы под этим подразумеваете? — поинтересовался я. Женщина облизывала пальцы.

— Под чем? — спросила она.

— Под Администрацией.

— Администрация есть Администрация, — объяснила она. Я смотрел, как она поглощает торт.

На мой вопрос, сколько солдат она обслуживает, толстуха ответила:

— Одного слепого.

— Бюрки? — спросил я осторожно. Она все ела и ела.

— Штауффер, — наконец сказала она. — Слепого зовут Штауффер. Раньше у меня было больше солдат. Они все умерли. Они все были слепые. Ты тоже можешь здесь жить, ты, конечно, солдат, иначе бы сюда не пришел.

— Я живу в другом месте, — сказал я.

— Дело твое, — ответила она и запихнула остаток тор-

та в рот,— ровно в полдень и ровно в восемь вечера мы едим торт.

Я вышел из ризницы. В часовне у купели сидел какой-то старик. Я уселся против него.

— Я слепой,— сказал тот.

— Как это случилось?

— Увидел молнию,— рассказал он,— другие тоже ее видели. Все они умерли.— Он оттолкнул тарелку.— Ненавижу торт. Одна старуха в состоянии есть его с удовольствием.

— Вы Штауффер? — обратился я к нему.

— Нет, Хадорн. Меня зовут Хадорн. Штауффер умер. А тебя зовут Рюегер?

— Меня зовут Рюкхард.

— Жаль,— посетовал Хадорн,— у меня кое-что есть для Рюегера.

— Что же?

— Кое-что от Штауффера.

— Но он же умер.

— У него это тоже от одного умершего.

— От какого еще умершего?

— От Цауга.

— Не знаю такого.

— А он получил это от другого, который тоже умер.

— От Бюрки? — предположил я. Он задумался.

— Нет,— вспомнил он,— от Бургера.

Я не сдавался:

— Может, все-таки от Бюрки? — Он опять задумался.

— У меня плохая память на имена,— сказал он наконец.

— А меня все-таки зовут Рюегер,— решил я.

— Значит, у тебя тоже плохая память на имена,— упрекнул он меня,— ведь сначала ты сказал, что ты не Рюегер. Однако мне все равно, кто ты.

И он мне протянул что-то. Это оказался ключ Бюрки.

— Кто теперь — Администрация?

— Эдингер,— ответил слепой.

— А кто такой Эдингер?

— Не знаю.

Я поднялся, сунул ключ в карман пальто.

— Ну, я пошел,— сообщил я.

— А я остаюсь,— проговорил он,— все равно скоро умру.

Метцгергассе представляла собой кучу щебня, башня Цитглоггер обрушилась.

Когда я добрался до здания правительства, уже наступила ночь, но такая ясная, как будто светила полная луна. У обеих статуй, стоящих перед главным входом, отсутствовали головы. Купол был разбит, лестницей можно было пользоваться только с большой осторожностью, но зал Большой палаты чудом уцелел, даже чудовищная огромная фреска оказалась невредимой, однако скамьи для депутатов исчезли. А в зале поставили старые, потертые диваны, на которых сидели женщины в несколько потрепанных пеньюарах, некоторые с голой грудью. Все это скупо освещалось керосиновой лампой. Ложи для зрителей прикрывал занавес. Трибуна для ораторов была на месте. В кресле президента парламента сидела женщина с круглым, энергичным лицом в форме офицера Армии спасения. Пахло луком.

Я в нерешительности остановился у входа в зал.

— Иди сюда,— приказала командирша,— выбирай какую хочешь.

— У меня нет денег,— сказал я. Женщина удивленно уставилась на меня.

— Сын мой, откуда ты свалился?

— С фронта.

Она удивилась:

— Долго же тебе пришлось идти. У тебя есть ластик?

— Зачем он?

— Для девочки, конечно. Мы берем то, что нам нужно, а лучше бы — точилку для карандашей.

— У меня есть только револьвер,— сказал я.

— Сын мой, давай его сюда, не то мне придется доложить о тебе Администрации.

— Эдингеру?

— Кому ж еще?

— А где Администрация?

— На Айгерплац.

— Это Эдингер приказал устроить здесь бордель?

— Заведение, мой милый!

— Это — заведение?!

— Естественно,— ответила она,— мы ведь отравлены бомбой, сынок. Мы умрем. Любая радость, доставленная одним из нас другому,— акт божественного милосердия.— Я — майор. И я горжусь тем, что моя бригада все это поняла.

Она указала на женщин, расположившихся на потертых диванах:

— Обреченные на гибель готовы любить!

— Я ищу Нору,— сообщил я.

Майорша взяла колокольчик, позвонила.

— Нора! — позвала она.

Наверху в дипломатической ложе приоткрылся занавес. Оттуда выглянула Нора.

— Что такое? — спросила она.

— Клиент,— сообщила майорша.

— Я еще занята,— ответила Нора и исчезла за занавесом.

— Она еще на службе,— объяснила майорша.

— Я подожду.

Майорша назвала цену:

— За револьвер. Присаживайся, сын мой, и подожди.

Я уселся на диван между двух женщин. Майорша взяла гитару, прислоненную к ее президентскому креслу, заиграла, и все запели:

В чистоте мы непреложны,

Коль душа любовь хранит.

Все страдания ничтожны,

Если смерть с косой летит.

Божий Сын страдал от жажды,

Мукой крестною сражен.

Бомбой распяты однажды.

Мы несчастнее, чем Он *.

Появилась Нора. Сначала мне показалось, что на руках у нее мальчик, но это был безногий шестидесятилетний инвалид со сморщенным детским личиком.

— Ну вот, попрыгунчик,— сказала Нора, усаживая его на диван,— теперь у тебя будет легче на душе.

— Нора,— сказала майорша,— вот твой следующий клиент.

Нора посмотрела на меня и сделала вид, что не узнала. Под халатом у нее ничего не было.

— Тогда пошли наверх, мой хороший,— сказала Нора и направилась к двери, ведущей на галерею. Я — за ней. Майорша снова заиграла, и бригада запела:

Божьи девы, груди — к бою!
В бедра влить веселый пыл!
Кто пожертвовал собою,
Сладкой вечности вкусил.

— У тебя есть ключ? — спросила Нора.

Я кивнул.

— Пошли.

Мы медленно продвигались по разрушенному залу под куполом и по крытой галерее к восточному крылу здания. Попали в темный коридор и невольно остановились.

— Ничего не вижу,— сказал я.

— Надо привыкнуть к темноте, что-нибудь всегда можно разглядеть.

Мы стояли не двигаясь.

— Как ты могла! — воскликнул я.

— Что именно?

— Ты знаешь, что я имею в виду.

Она молчала. Темень была непроницаемая.

— Приходится держаться за это место,— пояснила она.

— Тебя что, Эдингер заставил?

Она засмеялась.

— Да нет! Иначе мне было бы незачем здесь жить.

* Перевод стихов А. Солянова.

Ты что-нибудь видишь?

Я соврал:

— Видно кое-что.

— Ну, пошли.

Мы осторожно вошли в коридор. Я передвигался как слепой.

— Чего это ты так взбесился? — спросила Нора. — Я и раньше с вами со всеми спала!

Я ощупью продвигался в темноте.

— Так это с нами, — проговорил я с досадой.

— Милый мой, мне кажется, ваше времечко прошло.

Мы спустились в подвал.

— Сюда, — предупредила Нора, — аккуратно, здесь лестница, двадцать две ступеньки.

Я принялся считать.

Она остановилась. Я слышал ее дыхание.

— Теперь направо, — скомандовала она, — в этой стене.

Нащупав деревянную панель, я нашел место, где она поддавалась. Нащупал замочную скважину, ключ подошел.

— Закрой глаза, — сказал я.

Дверь бункера отворилась. Мы почувствовали, что стало светло. Дверь за нами захлопнулась. Мы открыли глаза. Это был компьютерный зал.

Нора проверила аппаратуру.

— Генераторы в порядке, — сказала она.

Мы подошли к радиоустановке. Нора включила ее, и, к нашему удивлению, зазвучала мелодия «Заре навстречу!», да так громко, что мы вздрогнули от неожиданности.

— Блюмлизальп! — воскликнула Нора.

— Автоматическая установка, — успокоил я ее, — невозможно, чтобы там кто-то остался в живых.

Но тут зазвучал голос. Голос Брюкмана, популярного ведущего ночной передачи, состоящей из легкой музыки, анекдотов и интервью, — «Из брюк явился Брюкман».

— Дорогие слушательницы и слушатели, — проговорил он, — сейчас двадцать два часа. — И Брюкман назвал дату

и объявил о повторении какой-то патриотической передачи.

— Они еще живы! — кричала Нора. — Они еще живы! Он объявил сегодняшнее число.

Тут раздался голос председателя военного ведомства.

— Мой шеф! — Нора была вне себя.

Шеф своим звучным голосом произносил речь, обращенную к народу. Он объяснил, что все они: правительство, парламент, различные ведомства — всего четыре тысячи лиц обоего пола, главным образом мужчин, и тысяча машинисток уцелели здесь, под Блюмлизальпом, избежав облучения, запаса продуктов хватит еще на два-три поколения, атомная электростанция работает, обеспечивая их светом и воздухом, — это сводит на нет все протесты противников атомных электростанций; правительство, парламент и чиновники в состоянии и дальше осуществлять руководство страной и служить народу, хотя у них и нет возможности выйти из Блюмлизальпа, ведь враг вероломен и уже пытался сбросить бомбу на Блюмлизальп. Однако они не жалуются: исполнительная, законодательная власть и государственный аппарат должны принести в жертву себя, а не народ, и вот они жертвуют собой.

Пока председатель военного ведомства продолжал свою речь, я внимательно рассматривал Нору. Она стояла рядом, халат распахнулся, и не дыша слушала своего шефа. Я накинулся на нее: у меня целую вечность не было женщины.

А шеф говорил, что с большой радостью встретил известие о победе над коварным врагом в Ландеке и он убежден: армия с ее храбрыми союзниками уже близка к окончательной победе в глубине азиатских степей и, возможно, уже ее одержала; он говорил, что, к сожалению, к нему, и также к остальным членам правительства еще не поступало известий из внешнего мира, так как крайне высокий уровень радиации в Блюмлизальпе, по-видимому, препятствует любой радиосвязи.

Он говорил и говорил. Нора продолжала слушать. Я за-

пыхтел, застонал, тогда она зажала мне рот рукой, чтобы слушать своего шефа, не пропуская ни слова. Я был ненасытен, а она, вслушиваясь в слова шефа, позволяла делать с собой все что угодно.

— Конечно, может быть,— объяснял шеф, и в его голосе явственно звучала тревога,— конечно, не исключено, хотя и невероятно, что война приняла не тот оборот, какого ожидали: при гигантском численном превосходстве и лучшем качестве классических систем вооружения враг одержит верх, захватит страну, но лишь страну, а не народ, который непобедим, как в дни Моргартена, Земпах и Муртена*.

Я все яростней набрасывался на Нору, потому что она продолжала слушать и потому, что был ей безразличен.

— Именно этот факт мало-помалу уяснит себе враг, и не только благодаря героическому сопротивлению, которое все еще оказывает ему народ — кто в этом сомневается,— но еще и потому, что законное, избранное народом правительство, парламент и государственные органы власти, денно и ночью исполняющие свой долг под Блюмлизальпом, они управляют, дают указания, принимают законы, они, собственно, и есть народ и никто другой, и поэтому именно они уполномочены вести переговоры с противником, и не как побежденные, а как победители — ведь даже если страна подвергнется опустошению, допустим на минуту такой невероятный случай, даже если она уже не в состоянии оказывать сопротивление или — и это, к сожалению, тоже возможно — если ее уже нет, то есть ее невредимое правительство и ее великолепные органы власти. Они никогда не сдадутся. Наоборот, они готовы в интересах всеобщего мира снова подтвердить свою независимость, опирающуюся на постоянный вооруженный нейтралитет.

Конечно, это были только обрывки речи, которые я теперь вспоминаю, увязывая друг с другом, такого со мной еще никогда не было, я ведь совсем не слушал, а когда

* Моргартен (1315 г.), Земпах (1386 г.), Муртен (1476 г.) — места известных сражений.

наконец оторвался от Норы, из приемника опять неслось «Заре навстречу!».

Мы встали. Я обливался потом. Пошли в лабораторию, оба совершенно голые. Она взяла у меня кровь на анализ.

— Будешь жить.

— А ты? — спросил я.

— Меня обследовала Администрация. Мне повезло, как и тебе.

Я снова набросился на нее, прямо на полу, у лабораторного стола, но опять разозлился, потому что она, пока я пытался овладеть ею, сообщила холодным деловым тоном:

— Невредимое правительство без народа — для правительства это, конечно, идеально.— И она захохотала и не переставала хохотать, пока я не отпустил ее.

— А сколько народу в Администрации? — спросил я, когда она наконец успокоилась.

— Двадцать — тридцать человек, не больше,— ответила она, поднялась с полу и встала передо мной.

— А где живет Эдингер? — поинтересовался я, все еще сидя на полу, голяком, совершенно без сил. Она посмотрела на меня задумчиво.

— А зачем тебе знать?

— Да так.

— В Вифлееме. В пентхаузе *,— ответила она наконец.

— А ты знаешь его имя?

— Иеремия.

Я подошел к компьютеру. В банке памяти Эдингеров было немного, и среди них отыскался Иеремия. Я пробежал глазами данные: занимался философией (незаконченное философское образование), выступал в защиту окружающей среды, уклонялся от службы в армии, приговорен к смертной казни, которую парламент заменил пожизненным заключением.

Я опять пошел в радиоузел, закрыл дверь, ключ лежал в тайнике.

Затем вернулся к Норе, оделся. Она уже надела халат.

* Дом, выстроенный на крыше; надстройка на крыше.

Потом я отправился на склад, выбрал пистолет с глушителем, сказал ей, чтобы она заперла дверь и хранила ключ, а у меня кое-какие планы, возможно, и не совсем безопасные, сказал я. Нора молчала. Я покинул правительственное здание, воспользовавшись дверью в восточном крыле.

В Вифлееме остался лишь один многоэтажный дом, казавшийся каким-то призрачным эшафотом. Войдя в здание, я убедился, что внизу все выгорело дотла, а шахты лифтов пусты. Наконец обнаружил лестницу. Этажи состояли теперь лишь из балок, державших бетонные перекрытия. На верхнем, освещаемом светлым ночным светом этаже никого не было видно. Я уже решил, что ошибся и что дом необитаем, но неожиданно натолкнулся на приставную лестницу. Вскрабкавшись по ней, я вылез в центре плоской крыши перед темным пентхаузом. Через щели в двери проникал свет. Я постучал. Послышались шаги, дверь распахнулась, и на светлом голубоватом фоне возник силуэт.

— Как мне найти Иеремию Эдингера? — спросил я.

— Папа еще в конторе, — ответил девчачий голос.

— Я подожду его внизу.

— Подожди у меня, — сказала девочка, — входи. Мама тоже еще не вернулась.

Девочка пошла в пентхауз, я — следом за ней, сунув руки в карманы куртки.

Прямо напротив двери я увидел громадную стеклянную стену и понял, почему внутренность дома казалась освещенной. За стеклянной стеной стояла светлая ночь, но она была такой прозрачной и серебристой не из-за луны, а из-за как бы фосфоресцирующих гор, а Блюмлизальп светился так сильно, что отбрасывал тень.

Я посмотрел на девочку. Она выглядела таинственно в этом освещении, очень худенькая, с большими глазами, волосы того же белого цвета, что и Блюмлизальп, светивший в комнату.

У стены стояли две кровати, посередине — стол и три стула. На столе лежали две книги: «Хайди» и «История философии в очерках. Руководство для самообразования» Шwegлера.

У стены напротив стояла плита, а рядом со стеклянной стеной — кресло-качалка.

Девочка зажгла светильник с тремя свечами. Теплый свет преобразил помещение. На стенах стали видны разноцветные детские рисунки. Девочка оказалась одетой в красный тренировочный костюм, глаза у нее — большими и веселыми, волосы — светло-русыми, на вид ей было лет десять.

— Ты испугался,— сказала она,— потому что Блюмлизалып так страшно сияет.

— Пожалуй, да,— подтвердил я,— испугался немножко.

— В последнее время свечение усилилось. Папа опасается. Он считает, что нам с мамой нужно уехать.

Я рассматривал рисунки.

— Хайди,— объяснила девочка,— я нарисовала все про Хайди, вот это домовой, а это — Петер-козопас. Может, ты сядешь,— предложила она,— в кресло-качалку, она как раз для гостей.

Я подошел к стеклянной стене, посмотрел на Блюмлизалып и устроился в кресле-качалке. Девочка села за стол и принялась за чтение «Хайди».

Было около трех часов утра, когда наконец послышались чьи-то шаги. В дверях показался большой толстый мужчина. Глянув в мою сторону, он обратился к девочке:

— Ты уже давно должна быть в постели, Глория. Марш спать!

Девочка закрыла книгу.

— Я не могу спать, пока ты не придешь, папа,— пожаловалась она.— И мама еще не возвращалась.

— Сейчас она придет, твоя мама,— сказал этот высокий, грузный, огромный человек и подошел ко мне.— Моя контора находится на Айгерплац,— заявил он.

— Мне хотелось бы поговорить с вами лично, Эдингер,— пояснил я.

— Вы не хотите назвать себя? — спросил он.

Я колебался в нерешительности.

— Мое имя не имеет значения,— ответил я.

— Ладно,— сказал он,— выпьем-ка коньяку.

Он направился к импровизированной кухне, нагнул, вытащил бутылку и две рюмки. Вернувшись в комнату, погладил по голове девочку, которая уже улеглась, погасил свечи, открыл дверь, кивнув мне, и мы вместе вышли на плоскую широкую крышу, расстилавшуюся перед нами в таинственном свете фосфоресцирующих гор будто равнина с нагроможденными на ней развалинами, кустами и небольшими деревцами.

Мы уселись на обломки дымовой трубы, под нами был разрушенный Вифлеем. За осевшей вниз бывшей многоэтажной виднелось какое-то подобие города с возвышающимся над ним узким силуэтом кафедрального собора.

— Бывший солдат?

— Я и сейчас солдат, — ответил я.

Он протянул мне рюмку, налил мне, потом — себе.

— Из французского посольства, — сообщил он, — и рюмки оттуда. Хрусталь.

— А посольство еще существует?

— Один подвал остался, — сказал он. (У Администрации тоже свои секреты.)

Мы выпили.

— А чем ты раньше занимался? — спросил он.

— Был студентом, занимался у старого Кацбаха, — ответил я, — писал диссертацию.

— Вот что.

— О Платоне.

— А что именно о Платоне?

— О «Государстве», седьмой его книге.

— Я тоже учился у Кацбаха.

— Знаю, — сказал я.

— Я в курсе, что с ним произошло, — сказал он без удивления и выпил.

— Что же случилось с Кацбахом? — спросил я.

— Когда упала бомба, его квартира загорелась, — сообщил он, поболтав коньяком в рюмке, — у него было слишком много рукописей.

— Беда всех философов, — сказал я, — от философского

семинара вообще ничего не осталось.

— Один Швеглер,— подтвердил он,— единственная книга, которую мне удалось найти.

— Я заметил ее на вашем столе.

Мы помолчали, глядя на Блюмлизальп.

— Приходите завтра на обследование,— предложил Эдингер,— на Айгерплац.

— Я буду жить,— ответил я,— меня уже обследовали.

Он не спросил, кто меня обследовал, подлил мне коньяку, потом и себе тоже.

— Где армия, Эдингер? — спросил я,— мы ведь мобилизовали тысячу восемьсот мужчин.

— Армия,— сказал он,— армия,— он глотнул коньяку.— На Инсбрук сбросили бомбу.— Он еще глотнул.— Вечерний салют. Вы из армии. Значит, вам повезло.

Мы опять помолчали, вглядываясь в очертания города. Пили.

— На нашей стране, видимо, надо поставить крест,— сказал Эдингер,— на Европе вообще. А что творится в Центральной и Южной Африке, просто невозможно передать. Не говоря о других континентах. Соединенные Штаты не подают никаких признаков жизни. На Земле вряд ли наберется хотя бы сто миллионов человек. А ведь до всего этого было десять миллиардов.

Я всматривался в Блюмлизальп. Он сиял ярче, чем полная луна.

— Мы создали всемирную Администрацию.

Я поболтал коньяком в рюмке.

— Мы? — спросил я.

Он ответил не сразу.

— Ты же уклонялся от службы, Эдингер,— сказал я, держа рюмку против светящихся гор. Рюмка таинственно засияла.— Ты жив, потому что тебя уберегли стены каторжной тюрьмы. Парадокс. Если бы в свое время парламент оказался более решительным, тебя давно бы расстреляли.

— У тебя-то уж хватило бы решительности.

Я кивнул утвердительно:

— Можешь взять это на заметку, Эдингер.

Я сделал глоток, посмаковал.

Со стороны города послышался глухой взрыв. Силуэт кафедрального собора покачнулся, потом раздался отдаленный громовой раскат, все окутала голубоватая пыль; когда она осела, от собора ничего не осталось.

— Рухнула терраса, на которой стоял собор, и потянула его за собой,— сообщил Эдингер равнодушным тоном.— Мы давно ждали этого. В остальном ты прав, полковник,— продолжал он,— мы, уклонявшиеся от службы, создали здесь всемирную Администрацию, в других местах это делают диссиденты или жертвы указа против радикалов.

Эдингер выдал себя. Он знал, кто я. Но пока это было неважно. Гораздо важнее было выведать что-нибудь об Администрации.

— Другими словами, существуют отделения вашей всемирной Администрации,— заметил я,— и ты об этом проинформирован, Эдингер.

— По радио,— сказал он.

— Электричества больше нет,— бросил я.

— Среди нас нашлись радиолюбители,— ответил он. Его лицо казалось в ночном свете лицом призрака, что-то необъяснимое исходило от него, какая-то странная неподвижность.

— Однажды мне почудилось, что я видел самолет,— сообщил я.

Он отхлебнул из рюмки.

— От центральной Администрации в Непале,— сказал он. У них есть кое-что для проверки на радиоактивность. Я усиленно соображал. Что-то не вязалось во всей этой истории.

— Ты знаешь, кто я, Эдингер,— констатировал я.

— Я был уверен, что ты объявишься, полковник,— подтвердил он.— Бюрки меня предупредил.

Мы помолчали.

— Ключ он тебе тоже дал? — спросил я.

— Да.

— А Нора?

— Она ничего не знает,— сказал он,— бункер под восточным крылом найти совсем нетрудно. Я, только послушал несколько речей правительства и вернул ключ Бюрки. Потом Бюрки умер, и по цепочке через Цауга, Штауффера, Рюегера и Хадорна ключ попал ко мне.

— Ты в курсе,— сказал я.

Он допил свой коньяк.

— Администрация в курсе,— ответил Эдингер.

Я указал на светящуюся гору.

— Администрация там, Эдингер,— это полномочное, невредимое правительство, дееспособный парламент, действующие органы власти. Если мы его освободим, у нас будет Администрация намного лучше вашей всемирной из уклонившихся от службы в армии и диссидентов. Вы, конечно, это здорово придумали. Подлей-ка мне, Эдингер.

Он налил мне еще коньяку.

— Прежде всего ты, наверное, уже уяснил себе, Эдингер,— продолжал я,— что из нас двоих я сильнейший.

— Ты так считаешь, потому что у тебя есть оружие? — спросил он и отхлебнул из рюмки.

— Свой револьвер я отдал бандерше, назначенной твоей Администрацией,— в правительственном здании.

Он рассмеялся:

— Полковник, в бункере под восточным крылом находится склад оружия, он оказался в твоём распоряжении. И шифр.

Я опешил.

— Тебе известен шифр?

Он ответил не сразу. Уставился на гору, и его широкое, тяжелое лицо опять сковала странная неподвижность.

— Бюрки показал мне ключ в тайнике, расположенном под восточным крылом здания,— рассказал он,— и мы вместе расшифровали несколько секретных посланий, отправленных правительством из Блюмлизальпа. Это удалось лишь потому, что подземный кабель остался неповрежденным, радиостанция в Блюмлизальпе вышла из строя по причи-

не радиоактивности. С правительством можно связаться лишь из восточного крыла правительственного здания. Правительство в отчаянии. Оно безрезультатно пыталось вступить со мной в контакт и наконец прекратило эти попытки. Они надеялись, что я их освобожу, а теперь обращаются с этой просьбой к тем, кто, как они убеждены, победил, то есть к врагам, не подозревая, что нет победителей, есть только побежденные; что солдаты всех армий отказались продолжать борьбу и расстреляли своих офицеров; что власть в руках всемирной Администрации и что те солдаты, которые выжили после катастрофы, пытаются теперь сделать плодородной Сахару: возможно, это единственный шанс для человечества сохранить себя.

Он замолчал.

Я слушал его и думал.

— Что ты мне предлагаешь? — спросил я.

Он допил свою рюмку.

— Люди работают в Сахаре, чтобы выжить, — сказал он. — Не исключено, что и туда проникнет радиация. Люди пытались невероятно примитивными средствами оросить пустыню. Они работали подобно первобытному человеку. Ненавидели технику. Ненавидели все, что напоминает о прошлом. Они находились в шоковом состоянии. Мы должны были преодолеть этот шок. Я, как и ты, изучал философию. У меня есть теория Швеглера. Когда-то мы смеялись над этими «Очерками философии», а теперь, может быть, тебе придется убеждать людей в Сахаре, что мыслить — это не самое опасное.

Эдингер замолчал. Его предложение было диким.

— Учить мыслить с помощью Швеглера, — рассмеялся я.

— У нас нет другого выхода, — возразил он.

— Другой возможности ты мне предложить не можешь?

Он помедлил.

— Могу, — ответил он наконец, — предлагаю, но без особой охоты.

— И что же это? — спросил я.

— Власть, — сказал он.

Я испытующе смотрел на Эдингера, чего-то он не договаривал.

— Ты хочешь включить меня в Администрацию? — спросил я его.

— Нет, в Администрацию ты не можешь быть принят, полковник.

Он повернулся ко мне. Я опять увидел его тяжелое лицо.

— Администрация — это третейский суд, ничего больше. Он предоставляет право каждому решать, чего он хочет — бессилия или силы, хочет ли он быть гражданином или наемником. У тебя тоже есть право выбора. Твой выбор Администрация должна будет принять.

Я задумался.

— В чем состоит сила наемника? — спросил я с недоверием.

— В том же, в чем состоит любая сила, — во власти над людьми.

— Над какими людьми? — продолжал я допытываться.

— Над людьми, которые выданы на расправу наемникам, — невозмутимо сказал ЭдINGER.

— Не ходи вокруг да около, ЭдINGER.

— Ты совершенно не понимаешь, что творится, — ответил он, — Третья мировая война еще не кончилась.

— Скажи пожалуйста! И где же это она продолжается?

Он снова помешкал, разглядывая свою рюмку.

— В Тибете, — произнес он в конце концов, — там продолжают сражаться.

— Кто воюет?

— Наемники.

Это показалось мне невероятным.

— А кто нападает на этих наемников?

— Неприятель.

— А что это за неприятель? — допытывался я.

— Это дело наемников, — ответил он уклончиво, — Администрация не вмешивается в их дела.

Наш разговор зашел в тупик. Или враг был сильнее, чем

хотел признать Эдингер, или же война в Тибете — какая-то ловушка. Я не мог рисковать.

— Эдингер,— обратился я к нему,— я был офицером связи нашей армии при командующем. Когда союзники капитулировали и штаб праздновал эту капитуляцию, командующий собственноручно расстрелял свой штаб.

— Ну и?..

Я внимательно смотрел на Эдингера.

— Эдингер,— продолжал я,— на обочине дороги у Цернеца лежало более трехсот офицеров, расстрелянных нашими солдатами.

Эдингер выпил до дна.

— Наши солдаты больше не хотели воевать,— заявил он.

Я достал пистолет с глушителем.

— Налей себе еще, Эдингер,— сказал я.— Наемники в Тибете меня не касаются и твоя Администрация тоже. Для меня что-то значит только правительство под Блюмлизальпом. В стране полно умирающих. С теми, которые все равно погибнут, я спасу правительство.

Эдингер наполнил свою рюмку, повертел ее в руках.

— И все-таки ты отправишься в Тибет, полковник,— произнес он спокойно и, пригубив коньяк, поставил бутылку рядом с собой.

— Встать! — приказал я.— Подойти к краю крыши! Ты — уклоняющийся от службы и предатель родины.

Эдингер повиновался и, стоя на краю крыши, еще раз обернулся ко мне — силуэт на фоне светящейся горы.

— Блюмлизальп,— сказал он, улыбнулся и спросил меня: — Ты знаешь, о чем я невольно думаю, полковник, когда вижу, что гора светится вот так?

Я покачал головой.

— О том,— произнес он,— что на том суде, приговорившем меня к смертной казни, я предложил ликвидировать армию и на деньги, сэкономленные на ее содержании, совершить нечто безумное: построить на этой горе самую большую обсерваторию в мире.

Он засмеялся. Потом махнул мне. Допил коньяк, бросил рюмку вниз на развалины позади себя и повернулся ко мне спиной.

— От имени моего правительства,— крикнул я и трижды выстрелил в силуэт. Он растворился в воздухе. Светлое ночное небо впереди опустело. Я услышал звук падения далеко внизу. Мне чего-то не доставало. Взяв бутылку, я запустил ее вслед за ним.

Тут я почувствовал: кто-то стоит за моей спиной. Я развернулся кругом с пистолетом на изготовку. Это оказалась Нора. На ней был комбинезон, какие носят рабочие. Волосы спадали на плечи. В ночном свете они казались такими же белыми, как у девочки в пентхаузе.

— Нора,— сказал я,— я убил изменника родины Эдингера. Следить за мной совершенно ни к чему.

Она ничего не ответила.

Я подошел к краю крыши, потом обернулся к ней.

— Нора,— сказал я в замешательстве,— мне чего-то не хштит, я сам не знаю чего.

— Я уже давно здесь,— наконец ответила она,— я все слышала. Глория — это моя дочка, а Эдингер был моим мужем.

Я уставился на нее.

— Этого не было в компьютерных данных,— сказал я.

— Если бы там это было, я не смогла бы найти работу в правительственном заведении,— проговорила она, прошла мимо меня к краю крыши и посмотрела вниз.— Я рада, что ты его убил. Когда взорвалась бомба, он работал вместе с другими заключенными на Большом болоте. Он был безнадёжен. Страдал от ужасных болей. Терпел адские муки.— Она обернулась и подошла ко мне.— Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, ведь ты способен мыслить только определенными категориями.

Она остановилась передо мной: темная фигура на светлеющем небе.

— Но я не предательница. Эдингер был моим мужем, только и всего. Муж. Но мне кажется, он был чудак. Я ве-

рила в эту чушь: в защиту родины. Я была беременна, когда его за восемь лет до начала войны приговорили к смертной казни, а затем — к пожизненной каторге как уклоняющегося от службы в армии. Я дала ему возможность заниматься философией. В шутку он называл меня своей Ксантиппой, сделавшей для философии больше, чем любая другая женщина. Он стал уклоняться от службы в армии — это диктовал ему его нравственный идеал: человек поступает, как думает. Не существует веления совести, есть веление мысли. Совесть и мысль едины. Он любил нашу страну, но ставил ей в упрек, что она уклоняется от Мысли. Ненависти он ни к кому не испытывал. А я чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. Мне было страшно. Инстинкт подсказывал мне, что мы нуждаемся в защите своей страны. Он же говорил мне, что спасутся только правительство, парламент и государственный аппарат. Он все предвидел, все, что случилось. А я не верила ему. Когда он отправился на каторгу, я стала мстить ему: спала с каждым из вас.

Стало так светло, что я уже различал черты ее лица. Оно как бы окаменело и казалось абсолютно спокойным.

— А раз я мстила мужу, которого любила, и раз я спала с каждым из вас, принадлежавших к высшему военному руководству, значит, я стала патриоткой, и я осталась ею даже тогда, когда произошло все то, что предсказывал Эдингер.

Она улыбнулась, и вдруг в чертах ее лица проступила нежность, которой я никогда не замечал в ней.

— Я до такой степени осталась патриоткой, что пошла в бордель, который он устроил в правительственном здании, и тоже из чистой логики: потому что умирающие нуждаются в борделе. И создать Армию спасения удалось тоже ему.— Она рассмеялась.— Итак, я стала публичной девкой, чтобы дожидаться тебя и твоего поручения. Я думала, что Эдингер не подозревает об этом, а теперь знаю, что он был в курсе дела.

— Ты была ему безразлична,— сказал я.

Она посмотрела на меня.

— Каждую ночь в это время я приходила сюда. Эдингер не спал из-за болей, и никогда ни с одним человеком у меня не было ничего прекраснее, чем эти часы перед рассветом. Мы говорили друг с другом, и, когда он брал книгу, которую нашел в развалинах университета, я уже знала, что он хочет еще подумать, и я шла спать. Он восстановил по памяти всю философию, сказал он мне однажды, на основе одного лишь смехотворного учебника. Иногда по ночам к нему приходил какой-то глухонемой. Они вспоминали математику, физику, астрономию. Все можно восстановить, объяснял он, потому что ни одна мысль не исчезает окончательно.

Я подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Далеко внизу виднелась распростертая фигура Эдингера, он лежал — на спине или нет, было не разобрать, — широко раскинув руки и ноги.

— Был Эдингер гением или нет, — сказал я, возвращаясь к Норе, — для нас это теперь не имеет значения.

— Ты ведь хочешь организовать умирающих, — сказала она.

— Мне надо выполнить задание, — ответил я, — поэтому мне нужно как можно скорее проинформировать правительство в Блюмлизальпе, не дожидаясь, пока мне помешает в этом деле Администрация.

— Теперь ты этого уже не сделаешь, — произнесла она спокойно, — после того как ты вышел из бункера в восточном крыле, я установила там автоматическое взрывное устройство, а затем уж догнала тебя. Я видела, как ты поднялся в пентхауз. Ждала снаружи. Эдингер тоже не заметил меня. Я стояла позади вас, когда произошел взрыв. Остатки купола еще стоят. Но сам собор полностью разрушен. И больше никакой связи с правительством не существует.

Я с ужасом смотрел на нее. Я больше ничего не понимал. Нора сошла с ума. Она глядела на Блюмлизальп.

— Когда мы находились в помещении радиостанции и вдруг услышали голос диктора, а потом речь шефа, я неожиданно поняла, что Эдингер прав, — пояснила Нора.

— А я взял тебя! — закричал я.

Она подошла ко мне и встала рядом.

— Разве ты не понял, о чем говорил шеф?

— Я взял тебя! — опять крикнул я.

— Возможно, — ответила она, — мне безразлично, что ты со мной вытворял. Но я прислушивалась к речи шефа, и меня вдруг осенило, я поняла, что вытворили с нами: правительство, парламент, государственные учреждения, считающие себя народом, для которых народ всего лишь отговорка, чтобы обеспечить себе безопасность, — ведь это дико смешно. Полковник! Пусть они до скончания веков сидят в своем Блюмлизальпе! И тут являешься ты со своей идиотской затеей: вытащить это правительство из могилы с помощью умирающих, из могилы, которую они сами себе вырыли. Неужели до тебя не доходит, что патриотизм — это глупость? Для чего это правительство вообще существует? Может, ты полагаешь, что это единственное правительство, заседавшее в подобном убежище? Правительства всего мира забрались в такие же норы, и именно это предсказывал Эдингер, такие же правительства, как наше, — без народа и без врагов.

Вдруг я понял, чего мне не доставало после того, как я убил Эдингера.

— Враг, — выговорил я медленно, — у меня нет больше врага.

Я почувствовал себя невероятно усталым и потерявшим всякую надежду.

Стало светло как днем, контуры горы расплывались перед глазами. Наступило утро. Девочка прошмыгнула мимо меня, прижалась к матери, стоявшей передо мной, — гордой и красивой.

— Отправляйся в Тибет, — сказала Нора, — на Зимнюю войну.

(Здесь надпись прерывается. Частично продолжение оказалось в одной из дальних галерей.)

...Какое-то время назад (месяцы, годы) я сбился, запутался. И не потому, что я живу в полной темноте, ориентируюсь я прекрасно и всегда нахожу дорогу к складу боеприпасов и консервов. Конечно, враг мог проникнуть в систему галерей, которую я держал под контролем, пока освещение было в порядке, — возможно, враг и проник сюда, но зато теперь труднее найти меня самого.

Писать для меня — мучение. Проверить, исписал ли я уже стену, я могу с помощью крошечной части правой руки, не захваченной протезом, или касаясь щеками скалы. Пишу строки в два километра длиной, что удалось установить при помощи кресла на колесах — по количеству поворотов, и теперь всего две строки, одну под другой.

Меня не беспокоят ни возможность вражеского нападения, ни собственные трудности, я смирился со своим положением. Оно наполняет меня гордостью: ведь я стал на позицию Эдингера. В этом лабиринте под Джомолунгмой я являюсь единственным защитником Администрации. И я искупаю здесь убийство Эдингера, даже в том случае, если мой выстрел был для него избавлением. Его предложение донести философские знания до тех, кто занят оросительными работами в Сахаре, теперь мне понятно. Он хотел восстановить философию. Нора оказалась права: благодаря моей функции и сложившейся судьбе я нужнее Администрации на Зимней войне. Как это ни ужасно, это имеет смысл.

Я вспоминаю ту ночь у вершины Госаинтана на командном пункте, когда мы поймали на коротких волнах знакомый мотив «Заре навстречу!». Может, случайно радиостанция на Блюмлизальпе пробилась сквозь радиоактивность. Мы услышали также речь президента: он готов достойным образом вступить в переговоры с врагом. Мне было неприятно думать, что я служил такому правительству.

Иногда мы слышали и другие государственные гимны, и представителей других правительств, сообщавших о своей готовности к мирным переговорам, как-то раз какой-то отчаявшийся беспрерывно говорил по-русски, однако мы не

знали русского языка. В конце он объявил о капитуляции на всех языках. Администрация, которой я служу теперь, не способна на подобные заявления. Она не капитулирует никогда. Что меня все-таки сбивает с толку, так это одно событие, которого я не в состоянии осознать. Совершенно исключено, что война приняла катастрофический оборот для Администрации. Я верю в конечную победу. Это само собой разумеется.

Но когда я недавно, делая записи, добрался до места, которое, видимо, находилось недалеко от давно бездействующего борделя, я заметил какой-то огонек. Возможно, это был неприятель, не появившийся уже несколько лет. А вдруг враг предпринял генеральное наступление? Осторожно продвигаясь вперед, я оказался в большом зале, где было светло как днем и полно людей: мужчины, женщины, целые семейства, много фотографирующих, были и другие: одетые в форму, они объясняли здешнее устройство. Я был настолько поражен, что, ослепленный светом, въехал в гущу этой толпы и чуть было не выстрелил, но вовремя спохватился, сообразив, что нахожусь не среди вражеских наемников, а среди туристов.

Я дал предупредительный залп из автомата: туристы в опасности, ведь на них могли напасть враги. Какое легкомыслие: разрешить и организовать подобное посещение бывшего борделя. Люди в ужасе закричали и побежали в одну из больших галерей. Я последовал за ними — может быть, это все-таки замаскированные враги. Галерея, как и бордель, оказалась освещенной, пол — заасфальтированным. Вдруг я очутился под открытым небом. Из ледяной пещеры на меня уставились наемники в кислородных масках и с автоматами. Я выстрелил. Стекло разлетелось вдребезги: наемники оказались выставленными в застекленной витрине и искусно освещенными восковыми фигурами. Я находился в большом выставочном зале, в витринах которого передо мной представляли все новые и новые сцены из Зимней войны. Я пришел в ужас, когда в одной из витрин узнал самого себя и командующего; наш командный пункт на вершине Госаин-

тана был воспроизведен с поразительной точностью. Так что я попал в музей.

В ярости я расстреливал витрины, перед глазами у меня расплывались силуэты одетых в форму людей, спасавшихся бегством, — служителей музея. Я покатил за ними и неожиданно оказался у выхода. Снаружи виднелся парк с растущими в нем рододендронами, голубое безоблачное небо, мужчина в белом халате, как врач, лысый, в очках, он махал белым платком. Я застрелил его и отправился обратно через музей в галерею, затем — в заброшенный бордель. Зажимом правого протеза поднял с пола какой-то проспект. На нем было написано: «Путеводитель по борделю в Гашербрум III»: «Светящаяся стена». Кругом валялись и другие проспекты, снабженные подобными заголовками. Лишь через несколько дней я добрался до старой пещеры.

В непроницаемой темноте я выцарапываю эти записи на стенах новой галереи. Меня обескуражило не проникновение сюда врагов. Я сбит с толку, так как всегда считал, что бордель находится под Канченджангой, в «Пяти сокровищницах великого снега», в восточных Гималаях; а Гашербрум, о котором в проспектах сообщается, что именно под ним находится бордель, расположен в горах Каракорума на расстоянии более тысячи километров в северо-западном направлении. Конечно, не исключено, что эти проспекты намеренно подделаны врагами.

Так и получилось, что мое прежнее местопребывание теперь небезопасно. Мне припомнилась одна пещера, в которой я, будучи лейтенантом, собирал свою первую ударную группу. Жестокий отбор: вряд ли выживет хотя бы треть группы. Я решил попробовать отыскать этот учебный лагерь в надежде, что снова найду эту группу, если только лагерь не занял неприятель. С такой опасностью тоже нельзя не считаться. Правда, обстоятельство, что туристы посетили бордель, как раньше посещали раскопки, указывает на то, что бои идут значительно западнее, однако, возможно, враг завоевал большую часть территории, подчиняющей-

ся Администрации, во что, однако, не верю. И все же: я убил человека в белом халате, а он, может быть, принадлежал к Администрации. Но, возможно, он все-таки был враг. На этом кончаю записи в этой галерее.

(Конец записи.)

Итак, я осторожно двинулся в сторону системы галерей, ведущей к учебному лагерю, запасшись провиантом на много дней вперед. Дорогу я помнил хорошо: не обладая абсолютной памятью, выжить в этой войне было бы невозможно.

На перекрестке двух галерей, о существовании которого можно было догадаться лишь по чуть заметному сквозняку, обязательно возникающему на любом перекрестке, мне почудился в соседней галерее какой-то скрежет. Звук был такой, как будто кто-то царапал по стене. Медленно въехав в штольню, я продвигался вперед осторожно, сантиметр за сантиметром, остановился, прислушался: царапанья больше не было слышно, мне показалось, что кто-то едет навстречу, потом опять стало тихо. Продвинувшись вперед еще немного, я опять остановился, прислушался. Снова кто-то катил мне навстречу. Снова стало тихо. Я двинулся дальше, остановился, прислушался. Это сближение длилось несколько часов. Вдруг кто-то вздохнул совсем близко, я застыл, задержав дыхание. Снова рядом кто-то вздохнул. Поскольку поблизости могло оказаться еще много врагов, автомат лучше было не применять. Размахнувшись правым хватательным протезом, я ударил и угодил в пустоту; продвинувшись, ударил снова; раздался такой звук, как будто сталь стукнулась о сталь. Продолжая колотить своим протезом, я выпал из кресла и начал кататься с кем-то или с чем-то другим по полу, нанося удары, иногда попадая по чему-то металлическому, иногда — по чему-то мягкому. Потом тот, другой перестал двигаться. Я попробовал найти свое кресло-каталку. Теперь это был сплошной металлический лом. Я пополз на своих культиях и остатках

протезов, свалился в какую-то шахту, ударился обо что-то лицом, перекувырнулся и провалился в следующую шахту.

Видимо, я был без сознания. Когда наконец пришел в себя, то оказалось, что я лежу в чем-то клейком, покрывавшем мне лицо. Подумал: надо открыть огонь — ведь кругом враги, однако мой левый протез с автоматом пропал. Я оказался безоружным.

Я еще существую. По всей вероятности, нахожусь в пещере. Чувствую, что лицо мое превратилось в кровавую маску. Подо мной — мелкие камушки. Я с трудом волокусь вдоль стены; наверное, пещера бесконечная. То подует ледяной ветер, то наступит невыносимая жара: возможно, где-то поблизости работают огромные мастерские по производству оружия; только неизвестно для кого: для нас или для неприятеля.

Положение у меня безнадежное. Теперь, когда я предоставлен самому себе и ползу вдоль стены этой ужасной пещеры, часто делающей немислимые повороты, я задаю себе вопрос, на который никогда не отважился бы во время боев: кто же враг? Теперь этот вопрос уже не расслабит меня, так же как и ответ на него. Мне нечего терять. В этом моя сила. Я стал непобедим. Разгадав загадку Зимней войны.

У меня больше нет кресла-каталки, протез с автоматом валяется где-то далеко в одной из галерей, однако при помощи стального грифеля я выцарапываю крошечными буквами на скале свои раздумья — не для того, чтобы их прочли, а чтобы лучше сформулировать мысль. Выцарапываемая мысль на камне, одновременно я выцарапываю ее в своем мозгу: путь, ведущий к познанию, пройти трудно, еще труднее те пути, которые я оставил позади с тех пор, как в маленьком непальском городке скатился с грязной лестницы. Без дерзкого вымысла путь познания не пройти. И вот я представляю себе свет в той абсолютной темноте, в которой пребываю, не абсолютный свет, а лишь та-кой, что соответствует моему положению.

Я представляю себе людей в какой-то пещере, людей, у которых смолоду бедра и шея скованы цепью, так что они сидят совершенно неподвижно и могут смотреть только вперед, на стену пещеры. В руках у них автоматы. Вверху светит огонь. Между людьми и этим огнем есть переход. Вдоль него мне видится невысокая стена. А по этой стене здоровенные тюремщики проводят людей, тоже закованных в кандалы и с оружием в руках.

И тогда, продвигаясь ползком по камням на полу пещеры и выцарапывая на стене свои каракули, я задаюсь вопросом: увижу ли я себя и других иначе, чем в виде теней, отбрасываемых огнем на стену, расположенную против моего лица, и не приму ли тени этих фигур за них самих. Ну вот, и если голос, идущий непонятно откуда, крикнет мне, что эти тени, вооруженные теньями от автоматов,— мои враги, то не случится ли, что, выстрелив в эти тени на стене пещеры, я вроде бы убью тех, кто, как и я, закован в кандалы, потому что пули, отскочив от стены, рикошетом попадут в них, и, возможно, что и они, верящие в то, во что верю я и действующие подобно мне, убьют меня. Однако, если меня освободят и заставят вдруг встать, повернуть голову, ходить вокруг, смотреть на свет и если при этом я почувствую боль из-за непривычно яркого света и не смогу смотреть на людей, тени которых все время видел до этого, людей, находящихся в том же положении, что и я, разве не сложится у меня тогда мнение, что тени, которые я видел раньше, реальнее людей, представших передо мной воочию? И если я вынужден буду долго смотреть на свет, то, спасаясь от боли, снова повернусь к людям-теньям, на которых я в силах глядеть; и я останусь в убеждении, что эти тени гораздо отчетливее, чем люди, которых мне показали, потому что именно тени — мои враги; и разве не начну я опять стрелять, чтобы убить их и чтобы они снова и снова убивали меня самого?

Дальше рассуждать незачем! Когда-то я уже боролся с подобным представлением, может, я где-то все это вычитал, может, сам придумал, не знаю. Скорее всего, я выдумал это,

выписывая на скале свои размышления.

Огонь, отбрасывающий тени, возник в первобытные времена, не случайно звери боятся огня, огонь — что-то враждебное, а враг человека — его собственная тень.

Поэтому я и застрелил Эдингера и висевшего в пещере мужчину, убил командующего: они ведь больше не верили, что тени — враги, они знали, что, так же как и я, закованы в кандалы.

И теперь, думая обо всем этом, я вдруг понял Администрацию: победив в трех мировых войнах, она управляет человечеством, которое из-за того, что им управляют, потеряло всякий смысл; животное-человек лишено смысла, его существование на земле совершенно бесцельно. Для чего он вообще, человек? Вопрос, на который ответа нет. У человека и у Земли нет смысла жизни. Человек страдает, по сути, он болезненное животное, но его проблема не в том, что он страдает сам по себе, а в том, что не находит ответа на кричащий вопрос: «Ради чего страдать?» Человек — самое храброе и привычное к мучениям животное, он не отвергает страдание как таковое, он жаждет его, ищет его, при условии, что ему укажут смысл, смысл страдания. Бессмысленность страдания, а не само страдание — вот проклятие, какого не могла снять с человека Администрация, не возвратив человеку прежнего смысла существования, от которого она его достаточно странным образом избавила: врага.

Человек может существовать только как хищное животное. Нельзя придумать жребия страшнее, чем судьба хищного зверя, гонимого жестокой мукой лабиринтами под Джомолунгмой, Макалу, Манаслу или Госаинтаном, редко находящего успокоение, да и успокоение превращается в пытку в жестокой борьбе с другими хищными животными или в тошнотворной алчности и пресыщении подземных борделей. Так слепо и дико цепляться за жизнь, без иного вознаграждения, нисколько не понимая, за что так наказан, желая этого наказания как счастья,— это и значит быть хищным животным; и если вся природа устремилась

к разбою, то этим она дает понять, что это необходимо для освобождения от проклятия жизни и что таким образом само событие смотрится в зеркало, в котором жизнь видится уже не бессмысленной, а предстает в своем метафизическом значении. Подумайте хорошенько: где кончается хищное животное, свирепая, кровавая обезьяна, называемая человеком, и где начинается сверхчеловек? В существе, обзревающем преисподнюю пещерной жизни, куда он загнан; в том, кто сорвал этот искуснейший покров с истины, под которым она была запрятана; цель человека — быть врагом самого себя, человек и его тень едины. Кто дошел до этой истины, тому достанется мир, и он постигнет смысл Администрации.

Господин мира — я. В ослепительно ярком свете вижу я себя на своем кресле-каталке выбирающимся из галереи в пещеру; и из галереи напротив себе навстречу качу я сам, у нас у обоих по два автомата, приделанных к протезам, выцарапывать на стенах больше нечего, мы направляем все четыре автомата друг в друга и одновременно стреляем.

(Труп наемника был найден альпинистами у подножия Гашербрум III, 7952, в области Каракорум, на откосе осыпи. Наемник примерно сто пятьдесят метров протащился вдоль скал, выписывая правым протезом записи на стене и на больших камнях, которые он, по-видимому, принял за отвесную стену Гашербрум III или какую-нибудь другую гору. Его лицо представляло собой кровавую маску. Вероятно, он ослеп. Вообще на труп, видимо, напали стервятники, но потом оставили его в покое.

В записях разобраться очень трудно, так как они часто, и в галереях Гашербрума тоже, почти все время написаны справа налево, а не слева направо, то же самое наблюдается и на противоположной стене, возможно, так получилось из-за кресла-каталки: наверное, в темноте наемнику было удобнее писать именно таким образом. Снаружи, на осыпи, у подножия горы, он продолжал писать длиннющей цепочкой в сто пятьдесят метров справа налево, малю-

сенькими буквами, их трудно разобрать, отсутствуют интервалы между словами и знаки препинания.

Окончательный текст заключает в себе его ранние философские исследования, по всей вероятности, это реминисценции, некий коллаж из Платона («Государство» и «Пещерная притча») и Ницше («Генеалогия морали», «Шопенгауэр как воспитатель».) Почти не способный уже думать самостоятельно, он вынужден пользоваться цитатами. Сам того не желая, он выстроил не философию вообще, а собственную философию. Во всяком случае, мы должны это предположить, с тех пор как нашли в Джеймстауне (Австралия) библиотеку, принадлежавшую, наверное, какому-то философу; главное наше дополнение к Шwegлеру (кроме «Государства» Платона и «Собрания сочинений» Ницше, в библиотеке оказался еще «Миф XX века» Розенберга. Поскольку ни Ницше, ни Розенберг не встречаются у Шwegлера, современная наука рассматривает их как философские фикции).

Однако эти записи полны противоречий. Тяжелое положение, в котором все еще находится человечество после Третьей мировой войны, позволяет Администрации финансировать только одну исследовательскую группу для работы на массиве Гашербрум. Незадолго до окончания ее работ горный массив обвалился из-за того, что наемники чересчур изрыли его изнутри. Почему они думали, что находятся в Гималаях, непонятно.

Существует единственная копия этих записей. Ученые считают, что они сделаны двумя «я». Номер 60231023, который немой поставил на стене, может быть прочитан и как число Лошмидта: $6\ 023 \cdot 10^{23}$. Впрочем, именно записям мы обязаны новым открытием этого числа.

Второе «я» — это, по всей видимости, глухонемой. Кнюббель, Хопплер и Артур Полк считают, что этот глухонемой — Джонатан. Ведь он тоже писал на скалах. Странно, что позже он не появляется. Нора рассказывала полковнику, что Эдингер вместе с глухонемым пытались вспоминать математику, физику и астрономию; полковник же

поглощен проблемой врага, а часть записей посвящена судьбе человечества и связывает этот вопрос с небесными светилами; совершенно невозможно представить, чтобы эта часть записей принадлежала полковнику.

Другие, такие, как Штиркналь, Де ла Пудр и Тайльхард фон Цель, указывают, что в архиве Администрации не упоминается ни о каком Эдингере и что записи представляют собой фантазию, захватившую полковника, который, оказавшись в безнадежном положении, словно бы разделился на действующего и мыслящего наемника.

Ко всему надо еще добавить, что мы ничего конкретного не знаем о погибшей Европе. Сохранилась лишь музыка, достижение этого континента. К примеру, мелодия «Заре на встречу!». То, что некий радиолобитель на днях якобы поймал этот мотив на коротких волнах, вызывает сомнения, потому что он известный пропойца.

Радиопьесы

Авария

ГОЛОСА

Альфредо Трапс

Автомеханик

Хозяин трактира

Судья

Прокурор

Адвокат

Пиле

Симона

Тобиас

Модная эстрадная песенка. Шум движущегося автомобиля.

Трапс. Проклятый Вильдхольц! Вот нахал, ну я его проучу! Никакой жалости к нему, никакой. Сверну ему шею, и крикнуть не успеет. Нет ему прощения! Нет! Думает, я из Армии спасения. Хочет содрать с меня пять процентов. Пять! Вижу, чем это пахнет, не слепой! Зато со Штюрлером повезло. Хорошо я его нагрел, отхватил лакомый кусок... Ну, чего ты там чихаешь?

Прерывистый шум мотора.

Все! Приехали. Ладно хоть автомастерская рядом! Эй, вы! **Автомеханик.** Что с вашим «студебеккером»?

Трапс. Черт его знает. Хотел взять этот холмик, а она ни с места.

Автомеханик. Сейчас выясним.

Стук инструментов.

Ага... Вот, смотрите.

Трапс. В самом деле! Кажется, повреждение серьезное.

Автомеханик. Думаю, что да.

Трапс. Сколько времени понадобится на ремонт?

Автомеханик. Завтра в семь утра можете забрать.

Трапс. Завтра?

Автомеханик. Но ведь уже шесть часов вечера.

Трапс. До станции далеко?

Автомеханик. Полчаса пешком.

Трапс. В селе есть где переночевать?

Автомеханик. Спросите в трактире «Медведь».

Трапс. Ну хорошо. Странно, что же случилось с мотором? А что я в этом смыслю? Все мы отданы на произвол автомехаников, как некогда рыцарей-разбойников. Вот и «Медведь». Тот толстяк, видимо, хозяин?

Звуки аккордеона. Шум праздника.

Трапс. Свободные номера есть?

Хозяин. К сожалению, все занято. Съезд скотоводов...

Трапс. А еще тут есть гостиницы?

Хозяин. Тоже заняты скотоводами. Попробуйте сходить к господину Верге, на белую виллу. Прямо по главной улице, потом налево, он пускает постояльцев.

Звуки аккордеона медленно затихают.

Трапс. Надо было поехать поездом. Но отправление только через час, и два раза еще пересаживаться. Лень. Да и завтра машину забрать надо. А поселок симпатичный. Церковь, вековой дуб, многоквартирные домики — наверное, живут рантье и чиновники на пенсии из города... Крестьянские дома — прочные, надежные... даже навоз аккуратно сложен... Ну и стараются же люди.

Мычание коров, звяканье колокольчиков.

Коровы... Да, без них нельзя. Деревня... Вечерок чудесный, солнце еще высоко, завтра самый длинный день. Глядишь, и подвернется сюрпризик. В таком захолустье можно встретить премиленьких девочек, Луизу, Катрину... Как недавно в Гросбистрингене... Ну и ночь была с Евой, с ума сойти... А вот и вилла... Ели, буки и сад большой, овощные грядки, вдоль улицы фруктовые деревья, повсюду цветы. Странно, в таком доме берут на постой, вероятно, какой-то пансион. Не иначе хозяевам нужны денежки.

Скрип отворяемой калитки.

Ни души. На дорожках гравий. Алло!

Судья. Что вам угодно?

Трапс. Вы господин Верге?

Судья. Да, я.

Трапс. Моя фамилия Трапс. Альфредо Трапс!

Судья. Очень приятно.

Трапс. Мне сказали, что здесь можно переночевать. У меня машина сломалась.

Судья. Можно.

Трапс. А сколько возьмете?

Судья. Ничего...

Трапс. Ничего? Да ну?.. Вы что, дед-мороз?

Судья. Прощу, идемте на веранду.

Голоса.

Прокурор. Ага, наконец-то появился! Пора, пора!

Адвокат. Вот это повезло! Кажется, промышленник.

Прокурор. Где там, обыкновенный коммивояжер.

Пиле. Зз-дорово!

Трапс. Извините, кажется, я помешал?

Судья. Нисколько. Я живу один, сын в Америке, и я рад время от времени кого-либо приютить.

Трапс. Но у вас тут уже гости.

Судья. Это мои друзья. Как и я, пенсионеры. Переехали сюда из-за мягкого климата. Сегодня собрались поужинать в мужской компании. Приглашаю провести с нами вечерок.

Трапс. В вашей компании? Да такого гостеприимства сейчас не встретишь нигде. Это же как в сказке.

Судья. Позвольте представить: прокурор на пенсии...

Прокурор. Моя фамилия Цорн...

Трапс. Очень рад.

Судья. Адвокат на пенсии...

Адвокат. Куммер.

Трапс. Приятно познакомиться.

Судья. Господин Пиле.

Трапс. Весьма рад.

Пиле. Зз-дорово.

Судья. Симона, это господин Трапс. Он у нас переночует.

Симона. А в какой комнате, господин Верге?

Судья. Это же мы должны сначала выяснить, Симона.

Симона. Понятно.

Судья. Дело в том, господин Трапс, что нашим гостям отводятся вполне определенные комнаты, каждому смотря по его характеру.

Трапс. Оригинальная идея.

Судья. Желаете вермута?

Трапс. С удовольствием.

Судья. Добавить каплю джина?

Трапс. Право, не знаю, чем я все это заслужил.

Судья. Своим визитом вы оказываете нам большую услугу.

Трапс. Услугу?

Судья. Примете участие в нашей игре?

Трапс. Охотно. А что за игра?

Смущенный смех.

Адвокат. Она немного странная...

Трапс. Понимаю... господа играют на деньги... что ж, с удовольствием присоединяюсь.

Прокурор. Нет, мы в это не играем...

Трапс. Нет?

Смущенный смех.

Судья. Суть нашей забавы в том, что вечерами мы играем в свои бывшие профессии.

Трапс. В бывшие профессии?

Прокурор. Играем в суд.

Трапс (смеясь). Жуть...

Прокурор. Обычно мы пересматриваем знаменитые процессы. Суд над Сократом, над Иисусом Христом, Жанной д'Арк, Дрейфусом, недавно разбирали дело о поджоге рейхстага, иногда вызываем разных исторических лиц.

Адвокат. Вчера, например, мы признали невменяемым Фридриха Великого и арестовали его.

Трапс. Да, действительно, своеобразная игра.

Пиле. Зд-орово, а?

Прокурор. Лучше всего, разумеется, когда имеешь дело с живым материалом.

Трапс. Воображаю...

Судья. Поэтому те или иные гости любезно предоставляют себя в наше распоряжение.

Трапс. А как же.

Судья. Но вы отнюдь не обязаны участвовать в игре, дорогой господин Трапс.

Трапс. Конечно, буду играть.

Судья. Виски или водку?

Трапс. Виски.

Адвокат. Сигарету?

Трапс. Благодарствую.

Адвокат. Спички?

Трапс. Спасибо, у меня есть зажигалка. «Данхилл». Подарок жены.

Прокурор. Что касается вашей роли, многоуважаемый господин Трапс, ее сыграть нетрудно, это исполнит любой дилетант.

Трапс. Вы меня заинтриговали.

Судья. Судья, прокурор и защитник уже есть, ведь это должности, которые требуют знания сути и правил игры. Вакантно лишь место подсудимого. Однако хочу еще раз подчеркнуть: вас никоим образом не принуждают участвовать в игре.

Трапс. Какое же преступление мне вменяется?

Прокурор. Несущественный пункт, мой друг. Преступление всегда найдется.

Легкий смешок.

Трапс. До чего интересно!

Адвокат. Господин Трапс, поскольку вы решились участвовать в игре, я должен сказать вам кое-что серьезное.

Трапс. Мне?

Адвокат. Я же ваш защитник в конце концов.

Трапс. Весьма любезно с вашей стороны.

Адвокат. Пойдемте в столовую, выпьем здешнего портвейна. Старый-старый, непременно отведайте его.

Шаги,

Красивая столовая, не правда ли? Большой круглый стол празднично накрыт, какие торжественные стулья с высокими спинками, потемневшие картины на стенах, все подлинное, старинное, не то что малюют сейчас эти психи...

С веранды доносятся тихие голоса гостей, в открытые окна падают лучи заката, слышен щебет птиц, на отдельном столике и на камине бутылки с вином бордо — в плетенках.

Прошу сюда, прошу, здесь так приятно, все дышит поэзией домашнего уюта, давайте нальем портвейна и выпьем за это.

Чокаются.

Трапс. Превосходно.

Адвокат. Не правда ли?.. Лучше всего, если вы сразу сознаетесь мне в своем преступлении, тогда я смогу гарантировать вам, что на суде все обойдется. Длинному тощему прокурору с моноклем уже под девяносто, но он еще полон энергии, когда-то он был знаменитостью. Хозяин дома тоже весьма строгий и, пожалуй, даже педантичный судья. Как видите, положение небезопасное, тем не менее мне удалось

выиграть большинство дел, только однажды, в случае грабежа с убийством, ничего нельзя было спасти. Вы, однако, не производите впечатления, что способны на грабеж с убийством, или?..

Трапс (смеясь). Увы, я не совершал никакого преступления, дорогой господин Куммер... Смешно: прокурор в моноikle. Такие штучки ведь давно вышли из моды. Ваше здоровье!

Адвокат. Ваше здоровье. А мне нравится мое пенсне. Вы чувствуете себя невиновным, господин Трапс?

Трапс. Ну, знаете! Разве я похож на преступника?

Адвокат. Гм. Ладно. Главное, обдумайте каждое слово, не болтайте просто так, иначе вас приговорят к длительному заключению, и там уж ничем не поможешь.

Трапс (смеется). Слушаюсь, слушаюсь. Признаться, веселую забаву придумали!

Адвокат. Так, уже идут. Садимся за стол. Симона взяла черпак.

Прокурор. Что на ужин?

Симона. Черепашовый суп.

Пиле. Зд-орово!

Все. Приятного аппетита!

Все, прихлебывая, едят суп.

Прокурор. Ну-с, обвиняемый, что вы нам предъявите? Надеюсь, хорошенькое убийство.

Адвокат. Я протестую, господин прокурор. Мой клиент — обвиняемый без преступления — редкий случай в судопроизводстве. Он невиновен, абсолютно невиновен.

Судья. Неужели?

Прокурор. Невиновен?

Пиле (туло). Чего-чего?

Судья. Такого еще не бывало.

Прокурор. Придется расследовать. Чего быть не может, того не бывает.

Трапс (смеется). Валяйте, господин прокурор!

Симона. Форель, господа, к ней легкий игристый «невшатель».

Адвокат. Моя любимая закуска!

Пиле. Зд-орово!

Прокурор. Ваш возраст, господин Трапс?

Трапс. Сорок пять.

Прокурор. Профессия?

Трапс. Генеральный представитель фирмы.

Прокурор. Хорошо... Попали в аварию?

Трапс. Случайно. В этом году впервые.

Прокурор. Так. А в прошлом?

Трапс. Ну, тогда я ездил еще на старой машине «ситро-ен», выпуска тридцать девятого года. Теперь у меня «студебеккер», красный лак, спецмодель.

Прокурор. «Студебеккер»? Так, так, интересно! И совсем недавно? До этого, наверно, не были генеральным представи-телем?

Трапс. Был обыкновенным простым вояжером.

Прокурор. Конъюнктура...

Симона. Господин желает к форели растопленное масло или майонез?

Трапс. Майонез.

Адвокат (тихо). Напоминаю вам, господин Трапс, будьте внимательны! В каждом вопросе прокурора кроется тай-ный смысл.

Трапс. Господа, должен признаться: до сих пор я полагал, что самое забавное — это вечера в клубе «Шлараф-фия», но ваш холостяцкий ужин куда потешней!

Прокурор. А-а, так вы член «Шлараффии»? Интересно, интересно. Какое же там у вас прозвище?

Трапс (с гордостью). Маркиз де Казанова.

Пиле. Зд-орово.

Прокурор. Можно ли, судя по этому прозвищу, сделать вывод о вашей личной жизни?

Адвокат (тихо). Берегитесь! (Громко.) Вот брюссельский салат, прошу.

Трапс. Только условно, дорогой господин прокурор. Я строго-настрого женат, отец четверых детей, а если и встре-

чаюсь с бабенками на стороне, то лишь случайно и без серьезных намерений.

Симона. Еще рюмочку «невшателя»?

Трапс. Очень нравится!

Судья. Дорогой господин Трапс, не будете ли вы столь любезны вкратце рассказать собравшимся о своей жизни? Поскольку мы решили устроить суд над дорогим гостем и грешником и, по возможности, упечь его на долгие годы, хотелось бы узнать о нем поподробнее, что-нибудь личное, интимное, ну, скажем, любовные похождения, только желательно с перцем и солью.

Все. Рассказывайте! Рассказывайте!

Пиле (глухо). Однажды, господин Трапс, здесь гостил один сутенер, он рассказал нам страсть какие пикантные истории из своей практики и, между прочим, отделался всего-навсего четырьмя годами тюрьмы. Во было зз-дорово.

Трапс. А что мне рассказывать? Я не сутенер. Веду обычную жизнь, господа, самую серенькую. Ваше здоровье!

Все. Ваше!

Все чокаются.

Симона. Шампиньоны в сметане, господа, к ним «шатонёф дю-па».

Пиле. Зз-дорово.

Судья. Итак, господин Трапс, уютная атмосфера для вашего рассказа создана.

Трапс. Детство у меня было трудным. Отец был фабричный рабочий, пролетарий, который поддавался лжеучениям Маркса и Энгельса, мрачный, озлобленный человек, мной он никогда не занимался. Мать — прачка, рано состарилась. Учиться мне пришлось только в начальной школе, только в начальной.

Прокурор. Интересно. Только начальная школа. Значит, пробивались собственными силами, уважаемый.

Трапс. Вот именно. Еще десять лет назад торговал вразнос и таскался с чемоданчиком из дома в дом. Тяжкая работа, ходишь как бродяга, спишь где-нибудь в копне сена или в сомнительной ночлежке. С низов дело начинал, с самых

низов. А теперь... если б вы видели мой текущий счет в банке, господа! Не хочу хвалиться, но есть ли у кого из вас «студебеккер»?

Адвокат (*тихо*). Будьте осторожней!

Прокурор. Как же это вам удалось?

Адвокат (*тихо*). Будьте внимательней и меньше болтайте.

Трапс. Я исключительный представитель фирмы «Гефестон» в Европе.

Судья. «Гефестон»? Звучит как-то завуалированно...

Трапс. Вы близки к разгадке, уважаемый хозяин дома и судья. Вы сказали «завуалированно»... вуаль... Существуют нейлон, перлон и мирлон, синтетические ткани, о которых нысокий суд слышал. Но есть и гефестон — королева синтетики, нервущаяся, прозрачная (между прочим, суцая благодать для ревматиков), применяется как в технике, так и в модной одежде, как для военных целей, так и в мирной жизни. Идеальный материал для парашютов и в то же время пикантнейшая ткань для ночных сорочек прелестных дам, знаю по собственному опыту...

Все. Ого!

Судья. По собственному опыту!

Пиле. Зз-дорово.

Симона. Жареные телячьи почки, артишоки в охлажденном «сен жульен медб» двадцать седьмого года.

Трапс. Пир!

Прокурор. Настоящий. Наш хозяин, старый гном и гурман, сам все закупает. Вернемся, однако, к вам. Осветим, проверим и расследуем это дело дальше. Как вы сумели обрести столь доходное место в вашей профессии?

Адвокат (*тихо*). Берегитесь. Подвох!

Трапс. Это было не так легко. Сначала пришлось одолеть Гигакса, а это была трудная задача.

Прокурор. Ага, еще и господин Гигакс. Кто же он такой?

Трапс. Мой бывший начальник. Черт возьми, великолепное бордо. Какой букет!

Прокурор. Итак, почтеннейший, надеюсь, господин Гигакс в добром здравии?

Трапс. Умер в прошлом году.

Адвокат (тихо). Вы с ума сошли?

Прокурор. Умер! Наконец-то мы откопали покойника, а это в конце концов главное. Господа, за эту находку предлагаю отведать «сен жульен медо».

Звон бокалов.

Итак, вернемся к всплывшему на горизонте покойнику. Глядишь, еще обнаружится и убийство, которое наш милый Трапс мог бы совершить, к своему и нашему удовольствию.

Трапс (смеясь). Сожалею, господа, не совершал, сожалею.

Общий смех.

Прокурор. Не будем терять надежды. Начнем с начала. Господин Гигакс умер год назад?

Трапс. Восемь месяцев.

Прокурор. После того как вы заняли его место?

Трапс. Немного раньше.

Прокурор. Вот как? И от чего же он скончался?

Трапс. Что-то с сердцем.

Прокурор. Хорошо, у меня пока вопросов больше нет.

Адвокат (тихо). Неосторожно, Трапс, неосторожно. Поверьте моему опыту: как раз из сердечных заболеваний прокурор частенько вьет веревку для петли.

Прокурор. Сколько лет было усопшему, дорогой господин Трапс?

Трапс. Пятьдесят два. Можно еще немного подливки?

Прокурор. Совсем молодой.

Адвокат (тихо). И все это вы со спокойной душой признаете?

Трапс (смеясь). Не бойтесь, дорогой господин защитник, вот когда начнется допрос, тогда уж я буду начеку.

Тишина.

Адвокат. Несчастный! Что значит «когда начнется допрос»?

Трапс. А что? Разве он уже начался?

Смех.

Судья. Он и не заметил, он и не заметил!

Пиле. Зз-дорово.

Трапс (*запинаясь*). Прошу прощения, господа, я представлял себе эту игру более торжественной, солидной, официальной, как в зале суда.

Судья. Милейший господин Трапс, ваше смущение нам дороже любой награды. Наш метод судопроизводства кажется вам странным и слишком веселым. Видите ли, дражайший, все мы четверо давно вышли в отставку и избавили себя от ненужной писанины, протоколов, юридических формул, статей законов, от всяческого хлама, которым завалены судебные залы. Мы судим без оглядки на ветхие своды законов и жалкие параграфы.

Трапс. Без параграфов! Грандиозная идея!

Адвокат. Господа, я выйду подышать воздухом, прежде чем подадут цыплят и прочее. Небольшой моцион и сигарета полезны для моего здоровья. Я приглашаю господина Трапса разделить со мной компанию.

Трапс. С удовольствием, господин адвокат.

Адвокат. Пройдемте через веранду и окунемся в наступившую наконец ночь, теплую и величественную. У меня поэтическая струнка, дружище. Разрешите, я возьму вас под руку.

Трапс. Пожалуйста.

Адвокат. Хотите сигарету?

Трапс. Господи, ну и потеха была.

Адвокат. Дорогой друг, прежде чем мы вернемся в дом и накинемся на цыплят, я хотел бы, с вашего позволения, сказать вам несколько слов, надеясь, что вы отнесетесь к ним серьезно, с должным вниманием. Вы мне симпатичны, молодой человек, и я хочу по-отечески предупредить вас: если так пойдет и дальше, мы начисто проиграем процесс.

Трапс. Значит, не везет! Осторожней! Дальше — пруд... ага... вот и каменная скамья, давайте-ка присядем.

Адвокат. Звезды отражаются в воде, тянет прохладой. Она нужна в эту летнюю ночь. Из деревни доносятся звуки гармошки, пение, а вот звучит и альпийский рожок.

Трапс. Празднует союз скотоводов. Мелкого рогатого.

А с вами не соскучишься. Забавная игра. На ближайшем заседании «Шларэффии» я непременно предложу ввести ее.

Адвокат. Не правда ли? Просто оживаешь. После того как я вышел в отставку и оказался в этой деревушке, где мне предстояло наслаждаться старостью без всяких занятий, я совсем зачах. Да и что тут привлекательного? Разве что не чувствуешь фёна, вот и все. Здоровый климат? Без духовной-то пищи? Смешно. Прокурор был при смерти, у нашего хозяина подозревали рак желудка! Таков был итог. Но однажды мы придумали эту игру, и вот — она стала нашим целебным источником; пришли в норму гормоны, скука исчезла, появилась энергия, молоджавость, гибкость, аппетит. Мы играем раз в неделю с гостями судьи, которые и бывают нашими обвиняемыми, иногда с коммивояжерами, иногда с туристами, а вот позавчера мы приговорили одного члена парламента к двадцати годам тюрьмы. И только мое искусство спасло его от виселицы.

Трапс (смеясь). Виселицы? Ну и шуточки у вас!

Адвокат. Почему?

Трапс. Смертная казнь ведь отменена!

Адвокат. В государственном судопроизводстве. Но у нас частное правосудие, и мы ввели ее снова, как раз возможность смертной казни придает нашей игре такую увлекательность.

Трапс. Но тогда вам понадобится палач.

Адвокат. А он у нас есть — господин Пиле.

Трапс (испуганно). Пиле? Который всегда говорит «зз-дово»?

Адвокат. Он считался одним из опытнейших мастеров своего дела в соседней стране; сейчас тоже на пенсии, но не забыл старого ремесла. Что с вами, милый Трапс?

Трапс (с трудом). Не знаю. (Внезапно раздражается смехом.) Я вдруг испугался. Но это чепуха. Ужин без палача был бы менее веселым и забавным. Я предвкушаю, как распишу все это в «Шларэффии», а палача можно будет пригласить за небольшой гонорар плюс накладные расходы... Вы слышите?

Адвокат. Ну что там?

Трапс (*боязливо*). Я слышал крик.

Адвокат. Крик?

Трапс. В доме.

Адвокат. А-а, это Тобиас.

Трапс. Кто он такой?

Адвокат. Он отравил жену.

Трапс. Жену?

Адвокат. Пять лет назад мы приговорили его за это к пожизненному тюремному заключению. Вообще-то он заслужил смертную казнь, но Тобиас совершенно невменяем.

Трапс. Пять лет назад? И он еще здесь?

Адвокат. Да, в качестве гостя. Когда нет других гостей, он играет роли разных исторических личностей. Вчера, например, он был Фридрихом Великим. Сегодня, поскольку ны приехали, у него выходной. Он спит в комнате для пожизненно заключенных. Немного беспокоен по ночам, но в остальном это милейший человек.

Трапс. В комнате для пожизненно заключенных?

Адвокат. Так мы называем комнату для гостей, которых приговариваем к пожизненному. Для каждого вида наказания здесь своя комната.

Трапс (*смеется*). Опять я попал впросак. От страха, видимо... Да, потешный у вас дом.

Адвокат. Доверие за доверие. Вы прикончили Гигакса, а?

Трапс. Я?

Адвокат. Ну да, он же мертв.

Трапс. Я тут ни при чем.

Адвокат. Мой дорогой юный друг, я понимаю ваши опасения. Из всех преступлений неприятнее всего сознаваться в убийстве. Но мне вы можете спокойно исповедаться. Я знаю жизнь, и вы встретите у меня полнейшее понимание.

Трапс. Но мне не в чем сознаваться.

Адвокат. Ай-ай-ай, ну что это опять. Надо сознаваться, хотите вы или нет, а сознаваться всегда есть в чем.

Смелей, мой друг, без церемоний и оттяжек, выкладывайте начистоту, как вы кокнули Гигакса?

Трапс. Мой дорогой господин защитник, особая привлекательность вашей игры, если позволите высказать скромное мнение новичка, состоит в том, что обвиняемому становится страшно и жутко. Забава грозит превратиться в действительность. Невольно спрашиваешь себя, преступник ты или нет, убил ты старика Гигакса или нет. Полная неразбериха, захватывает, как в кино... И потому доверие за доверие: я невиновен в смерти старого гангстера. В самом деле.

Адвокат. Ну ладно. Невиновны. Будем надеяться. Вернемся в столовую, там уже подали цыплят, и «шато пави» двадцать первого года искрится в темной бутылке.

Шум голосов. Смех.

Прокурор. Вот и они.

Судья. Наконец-то!

Пиле. Зз-дорово.

Прокурор. Петушки великолепны!

Судья. Зажарены по тайному рецепту Симоны.

Прокурор. Хрустят!

Судья. За стол, господа, мы уже чавкаем.

Прокурор. Милейший и почтеннейший обвиняемый, позвольте вопрос, один вопрос; вы сказали нам, что господин Гигакс умер от сердечного приступа. Это правда?

Трапс (*повеселев*). Правда, господин прокурор.

Прокурор. Положа руку на сердце?

Трапс. Ну конечно.

Прокурор. А вы часом не отравили его?

Трапс (*смеясь*). Нет, ничего подобного!

Прокурор. Или, допустим, застрелили?

Трапс. Тоже нет.

Прокурор. Подстроили автомобильную катастрофу?

Общий смех.

Адвокат (*тихо*). Внимание, ловушка!

Трапс. Опять мимо, господин прокурор! Гигакс умер от инфаркта, причем не первого. Первый случился у старого жулика несколько лет назад, я это точно знаю.

Прокурор. Гм. И от кого же вам это известно?

Трапс. От его супруги, господин прокурор.

Прокурор. От его супруги?

Адвокат. Ради бога, осторожней...

Трапс. Милостивые государи, «шато пави» двадцать первого года превзошло все мои ожидания. Я пью уже четвертый бокал... Пусть высокий суд не думает, что я что-то скрываю, нет, я буду говорить правду и только правду, даже если защитник и прошипит мне уши своим «осторожнее!». В такой дружеской и приятной компании незачем стесняться, здесь поймут правильно даже правду. С госпожой Гигакс у меня кое-что было. Что ж, старый гангстер часто бывал в отъезде и варварски пренебрегал своей стройной и аппетитной женошкой. Поэтому мне иногда приходилось исполнять роль утешителя на диване в гостиной, а потом и в их супружеской постели, в общем, все как полагается и как это бывает в жизни.

Взрыв хохота.

Судья. Сознался, сознался!

Пиле. Зз-дорово.

Адвокат. Какое безрассудство!

Трапс. Господа, что тут смешного?

Судья. Он не догадывается, не догадывается!

Прокурор. Господин Трапс, вы все еще близки с госпожой Гигакс?

Адвокат. Внимание! Это решающий вопрос.

Трапс. После смерти Гигакса я больше не бывал у этой бабенки. Не хотел компрометировать добрую вдову.

Взрыв хохота.

Адвокат *(в бешенстве)*. Попались! Вполне естественно.

Пиле. Будет смертный приговор, будет смертный приговор!

Симона. Сыр.

Трапс. Попался? Почему, господа? Деловая жизнь жестока, чего там скрывать,— как ты мне, так и я тебе,— если кто захочет разыгрывать из себя джентльмена — тому недобровать. А у меня семья. Денег загребаю кучу, но и вкалываю как дюжина волов, каждый день мотаю на спи-

каким-нибудь обычным, нет — убийством виртуозным, совершенным без кровопролития, без таких средств, как яд, пистолет и тому подобное?

Трапс. Ну и чудеса!

Прокурор. Как специалист, я должен, безусловно, исходить из той предпосылки, что преступление может скрываться в каждом происшествии, а преступник — в каждой личности.

Трапс. Ого!

Прокурор. Первое подозрение обязано тому обстоятельству, что наш генеральный представитель Трапс еще год назад ездил в стареньком «ситроене», а теперь щеголяет «студебеккером».

Трапс. В таком случае вся страна должна кишеть убийцами!

Прокурор. Я, разумеется, понимаю, что мы живем в период высокой конъюнктуры, и потому смутная поначалу догадка была скорее предчувствием, ожиданием какого-то радостного события, а именно раскрытия убийства. То, что наш любезный Альфредо занял место своего шефа, что он вытеснил его и, наконец, что шеф умер, — все эти факты еще не являлись доказательствами, они лишь укрепляли наше предчувствие. Логически обоснованное подозрение начало складываться, когда выяснилось, от чего умер пресловутый шеф: от инфаркта миокарда. И вот тут-то настал момент сопоставить факты и, проявляя интуицию и проницательность, тактично, шаг за шагом, подкрасться к истине, в обычном распознать необычное, в неопределенном разглядеть определенное, в тумане различить контуры, поверить в убийство именно потому, что оно казалось абсурдным, и допустить факт убийства.

Трапс. Это и есть абсурд!

Прокурор. Рассмотрим имеющиеся данные. Набросаем портрет покойного. Мы знаем о нем мало, знаем лишь со слов нашего симпатичного гостя. Господин Гигакс был генеральным представителем фирмы синтетической ткани «Гефестон», во все приятные качества которой, упомянутые

нашим милейшим Альфредо, мы охотно верим. Это был человек, смеем заключить, который шел напролом, беспощадно эксплуатировал своих подчиненных, умел обделять дела, хотя часто пользовался при этом средствами более чем сомнительными.

Трапс. Точно, вылитый портрет мошенника!

Прокурор. Далее мы можем заключить, что господин Гигакс любил изображать из себя этакого здоровяка, силача, преуспевающего дельца, всегда стоящего на высоте положения, прошедшего огонь и воду. Вот почему он тщательнейше скрывал свою тяжелую сердечную болезнь, которая, по словам Альфредо, приводила его чуть ли не в бешенство, она, так сказать, подрывала его личный авторитет.

Трапс. Поразительно, прямо колдовство какое-то!

Адвокат (тихо). Да замолчите!

Прокурор. Следует добавить, что покойный пренебрегал своей женой, которая нам представляется стройной и аппетитной дамочкой, по крайней мере приблизительно так изволил выразиться наш друг...

Трапс. Отчаянная бабенка!

Прокурор. Для Гигакса имел значение лишь успех дела, и мы можем с известной вероятностью допустить, что он был убежден в верности своей жены; он полагал, будто представляет собой настолько незаурядную личность и экстраординарного мужчину, что у его жены не может возникнуть и мысли о прелюбодеянии. Поэтому для него было бы жестоким ударом узнать, что жена изменила ему с нашим восхитительным Казановой из «Шлараффии».

Трапс. Так оно и было!

Прокурор (пораженный). Так и было?

Адвокат (тихо). Ради бога, перестаньте молотить языком. Вы сейчас поставили себя в весьма опасное положение.

Прокурор. Интересно, как же узнал об этом старый мошенник? Созналась его аппетитная женушка?

Трапс. Нет, она жутко боялась старого гангстера.

Прокурор. Гигакс сам догадался?

Трапс. Нет, он слишком воображал о себе.

Прокурор. Может, ты сам ему признался, мой дорогой дон-жуан?

Трапс. Мне неудобно отвечать на этот вопрос, Курт.

Адвокат. Обращаю внимание господина Трапса, что ему не следует отвечать на этот вопрос.

Судья. Конечно, Трапс может не отвечать.

Прокурор. Согласен.

Трапс. Высокий суд! Проницательность господина прокурора заслуживает восхищения. Лишь тот правильно играет, кто относится к игре всерьез, а это касается и нашей игры. Я не боюсь правды. Я признаю, что один из моих приятелей раскрыл гангстеру глаза и сделал это по моему настоянию. Я вообще не люблю секретничать, ни сейчас, ни тогда, когда у меня была связь с Кэти.

Сначала тишина. Затем гомерический хохот.

Прокурор. Признание, великолепное признание!

Пиле. Зз-дорово.

Адвокат. Глупо, просто глупо!

Трапс. Что с вами, господа? Чего это вы пустились в пляс?

Прокурор. Господа, позвольте мне от радости взобраться на стул, дабы с возвышения продолжать свою речь. Дело ясно. Последнее доказательство получено. Рассмотрим жизненный путь уважаемого убийцы. Итак, Альфредо был закабален гангстером-шефом. Во время войны Трапс был корбейником — даже без патента, бродягой, незаконно торгующим текстильными товарами, мелким спекулянтom, потом дела его пошли лучше, он пристроился к фирме. Но, господа, кому охота, взобравшись на сук, почивать на нем, если повыше, ближе к верхушке, выражаясь поэтически, виднеются плоды сочнее и краше. Правда, он неплохо зарабатывал, носился от одной текстильной фирмы к другой, «ситроен» был неплох, но наш милый Альфредо видел на дорогах слева и справа новые модели, они мчались ему навстречу, обгоняли его. Благосостояние в стране росло, кому же хотелось отставать?

Трапс. Именно так и было. В точности.

Прокурор. Но задумать легче, чем исполнить. Шеф не давал ему продвинуться, цепко держал его, использовал нещадно и, обнадеживая новыми перспективами, все крепче и безжалостнее опутывал его.

Трапс. Точно, вы не представляете себе, господа, как меня зажимал старый гангстер!

Прокурор. Оставалось только идти ва-банк!

Трапс. Еще бы!

Прокурор. Наш любезный друг стал действовать сначала по деловой линии. Вероятно, это происходило следующим образом, учитывая природу этого человека, его характер. Он тайно связался с поставщиками своего шефа, зондировал их, обещал им лучшие условия, сеял смуту, договаривался с другими вояжерами, заключал союзы и одновременно контрсоюзы.

Трапс. А что вы хотите, господа, так же принято.

Прокурор. Потому ему пришла в голову мысль испробовать еще один путь.

Трапс. Еще один?

Прокурор. Он вступил в любовную связь с аппетитной дамочкой, госпожой Гигакс. Как это началось, нетрудно вообразить. Вероятно, однажды вечером...

Трапс. Правильно!

Прокурор. Может быть, зимой, часов в шесть. Вечерний город, золотистые уличные фонари, залитые светом витрины и кинотеатры, сверкающие рекламы — зеленые, желтые, все так уютно, заманчиво, сладострастно.

Трапс. Ну, в точку!

Прокурор. Он ехал на «ситроене» по скользким улицам в район вилл, где жил его шеф.

Трапс. Да, да, в район вилл.

Прокурор. Приехал, вышел. Под мышкой папка, заказы, образцы тканей, надо было решить неотложный вопрос, однако лимузина Гигакса не оказалось на обычном месте, у тротуара. Тем не менее Трапс прошел к дому по темной аллее, позвонил, дверь открыла госпожа Гигакс, ее супруга сегодня не будет дома, а служанка ушла. Но, может быть,

господин Трапс выпьет аперитив, и она его радушно приглашает в гостиную.

Трапс. Ну просто колдовство какое-то! Откуда ты все знаешь, Куртхен?

Прокурор. Практика! Судьбы разворачиваются все одинаково... Они сидели вдвоем в гостиной. Это даже не было обольщением, ни со стороны Трапса, ни со стороны дамы, просто удобный случай, которым он воспользовался. Она была одна, скучала, ни о чем таком особенном не думала, была рада с кем-нибудь поболтать. В квартире тепло, уютно, дама, предположим, была в вечернем платье или — еще лучше — в купальном халате с пестрыми цветами. И вот, сидя рядом с женщиной, видя ее белую шейку, глубокий вырез на груди, слушая, как она болтает, сердится на своего мужа, разочарованная, что наш друг, наверно, почувствовал, Трапс вдруг сообразил: вот где надо действовать, хотя действие уже началось. Вскоре он узнал о Гигаксе все: как скверно у него со здоровьем, как он убежден в верности жены, — от женщины, которая хочет отомстить мужу, можно узнать все. Так он начал эту связь и продолжал ее уже с умыслом — во что бы то ни стало разорить шефа, используя и это средство.

Трапс. Таким средством?

Прокурор. Скверная история развивалась своим чередом, и вот настал день, когда в руках у Трапса оказалось все: компаньоны, поставщики и нежная женщина по ночам. Тогда он затянул петлю и вызвал скандал.

Трапс (*медленно, с изумлением*). Затянул петлю?

Прокурор. Наступил роковой час, Гигакс все узнал. Старый гангстер еще нашел в себе силы поехать домой. Можно вообразить, как он был взбешен; уже в машине ему стало плохо: боли в области сердца, обильный пот, дрожат руки; он не замечает дорожных знаков, не слышит раздраженных свистков полицейских. Из последних сил он бредет от гаража к дверям дома и падает без сознания, вероятно, в передней, когда ему навстречу вышла супруга...

Трапс (*тихо*). Но я же не виноват в этом!

Прокурор. Долго это не продолжалось, врач сделал укол морфия, затем наступил конец, еще чуть слышный хрип, всхлипывания вдовы. Трапс был у себя дома, в кругу семьи, жена, четверо детей. Звонит телефон. Он снимает трубку...

Трапс. Ужасно, но это было именно так.

Прокурор. ...Замешательство, внутреннее ликование (наконец-то!). Три недели спустя — «студебеккер». Таков ход событий. Итак, осталось потребовать меру наказания.

Трапс. Боже мой, да что я сделал?

Прокурор. Вы методически убивали господина Гигакса.

Трапс. Методически?

Прокурор. Наш друг Альфредо действовал *dolo malo*, то есть со злым умыслом. Он действовал, ясно сознавая, что измена жены будет для Гигакса смертельным ударом.

Трапс. Я этого не знал.

Молчание.

Прокурор. Да? Вы не знали, что Гигакс болен, опасно болен, так что всякое сильное волнение, душевное потрясение может его убить?

Молчание.

Трапс. Этого я не говорил.

Прокурор. Что вы не говорили?

Трапс. Я сказал, что он был тяжело болен, старый гангстер, но я не знал, что волнение может его убить.

Прокурор. В нашей приятной компании вы хотели говорить только правду, милый друг Альфредо.

Молчание.

Трапс. Ну, хорошо. Конечно, волнение могло его убить. Да при таком состоянии здоровья было безумием заправлять фирмой. Но прежде я, видимо, неточно выразился. Я хотел сказать, что моя связь с мадам Гигакс не имела никакого отношения к его тяжелой болезни.

Прокурор. Никакого?

Трапс. Ни малейшего.

Прокурор. Почему же вы тогда постарались, чтобы Гигаксу сообщили о проступке его жены?

Трапс (*неуверенно*). Я ведь уже сказал: потому что не терплю секретничать.

Прокурор. Это меня радует. Истинно положительная черта характера, милейший Альфредо. А как отнеслась к этому госпожа Трапс?

Трапс. Моя жена?

Прокурор. Ей вы тоже сообщили о своей измене, раз вы не терпите секретничать?

Трапс. Но у меня... у меня ведь дети, господин прокурор, не могу же я разрушать семью, это вы должны понять.

Прокурор. Естественно, дорогой Трапс. Значит, у госпожи Гигакс детей нет?

Молчание.

Ну-с?

Трапс (*тихо*). Есть.

Прокурор. Ага, есть. Странно. Но ее семью можно было разрушать?

Молчание.

Трапс (*решившись*). Ладно. Если господину прокурору непременно хочется знать: да, я хотел разрушить ее семью.

Прокурор. Та-ак.

Трапс. Хотел разрушить из страсти, я люблю госпожу Гигакс.

Прокурор. Ясно, пылающий Казанова. Почему же вы теперь больше не навещаете вашу возлюбленную?

Трапс (*в отчаянии*). Господин защитник!

Прокурор. Адвокат еще успеет наговориться. Покамест он нервно протирает пенсне. Лучше-ка ответьте на мой вопрос.

Трапс. Ведь я должен был добиться успеха. Любой ценой. Но господина Гигакса я не хотел убивать, правда. Даже в мыслях не было.

Прокурор. Вот как. В мыслях не было? Вам это даже во сне не снилось?

Трапс. Я говорю правду, клянусь. Поверьте мне!

Прокурор. Я верю вам на слово, милейший Альфредо.

Хочу только разрешить некоторые противоречия, которые возникли в правдивом рассказе, не более. Вам надо лишь объяснить мне, какую цель вы преследовали, сообщая Гигаксу об измене его жены, и все станет на место. Вы это сделали не ради любви к истине и не из любви к госпоже Гигакс. Тогда ради чего?

Трапс. Я это сделал... я хотел ему навредить.

Прокурор. Вот это ответ. Теперь мы чуточку продвинулись. Каким образом навредить?

Трапс (*с трудом*). Ну... как-нибудь...

Прокурор. В делах?

Трапс. Да... хотя нет, к делам это никакого отношения не имело.

Прокурор. Значит, относилось к его здоровью?

Трапс. Скорее так. Да, пожалуй.

Прокурор. Попытка навредить здоровью тяжело больного человека, это ведь значит попытаться его убить, не правда ли?

Трапс. Господин прокурор, это же невозможно, неужели вы считаете, что я способен на такое?

Прокурор. Но оказалось возможным?

Трапс. У меня не было такого замысла.

Прокурор. Вы действовали без всякого плана?

Трапс. Нет, пожалуй, нет.

Прокурор. Следовательно, по плану?

Трапс. Господи, ну чего вы меня мучаете?

Прокурор. Я вас не мучаю. Вы сами себя мучаете. Я хочу лишь помочь вам выяснить правду. Для вас важно знать, убили вы или нет. Часто убивают безотчетно. Это я должен выяснить. Или, может, вы боитесь правды?

Трапс. Нет. Я ведь уже сказал, что не боюсь.

Прокурор. Итак? В чем же правда?

Молчание.

Трапс (*медленно*). Мне иногда хотелось свернуть шею Гигаксу, прикончить его, но ведь так бывает со всеми, подобные мысли приходят на ум любому человеку.

Прокурор. Но вы не только подумали об этом, обвиняемый,— вы действовали.

Трапс. Да, верно, но ведь он умер от инфаркта миокарда, а что у него случится инфаркт... кто же знал.

Прокурор. Но вы должны были считаться с вероятностью инфаркта, если он узнает об измене жены.

Трапс. Это всегда могло случиться.

Прокурор. И тем не менее вас это не остановило?

Трапс (*в отчаянии*). Но бизнес есть бизнес!

Прокурор. А убийство есть убийство. Вы действовали против Гигакса, даже зная, что можете его убить.

Трапс. Ну да...

Прокурор. Гигакс мертв. Стало быть, вы его убили.

Трапс. Ну да... но не напрямую...

Прокурор. Итак, вы убийца или нет?

Трапс. Теперь понимаю: я убийца.

Прокурор. Обвиняемый признался. Налицо факт убийства, совершенного психологическим способом, причем настолько изощренно, что, по видимости, кроме супружеской измены, ничего противозаконного не случилось. Но поскольку эта видимость теперь развеяна, то я, как прокурор нашего частного суда, имею честь, завершая на этом свою речь, потребовать для Альфредо Трапса смертной казни.

Трапс (*словно пробуждаясь*). Я убил.

Симона. Торт, господа, кофе «мокко», коньяк тысяча восемьсот девяносто третьего года!

Пиле. Зз-дорово! Зз-дорово!

Адвокат. Ну вот, опять несчастье! Еще один обвиняемый сломался, еще один признал себя виновным. И мне его защищать! Не лучше ль насладиться красотой этого часа, величием природы. За окном шелестит листва. Два часа ночи, праздник в «Медведе» стихает, звуки заключительной песни доносит сюда ветерок: «Наша жизнь что путь-дорога...»

Отдаленный мужской хор.

Судья. Слово имеет защитник.

Адвокат. Я с большим удовольствием слушал изобрета-

тельную речь нашего прокурора. Верно, старый гангстер мертв, мой подзащитный немало от него настрадался, буквально ожесточился против своего бывшего шефа, пытался его свалить — кто это оспаривает, где это не случается, — однако отождествлять смерть больного-сердечника коммерсанта с убийством — это фантазия.

Трапс. Но ведь я убил!

Адвокат. Я не согласен с обвиняемым и считаю его невиновным, даже не способным на преступление.

Трапс. Но ведь я виновен!

Адвокат. То, что он сознается в убийстве, столь хитроумно придуманном прокурором, психологически легко понять.

Трапс. Понять надо то, что я совершил преступление.

Адвокат. Достаточно одного взгляда на обвиняемого, чтобы убедиться в его простодушии. Он наслаждается тем, что в нашем обществе его любят, уважают и ценят, в том числе из-за его красного «студебеккера»; и ему, отяжелевшему от «невшателя», бургундского и замечательного коньяка тысяча восемьсот девяносто третьего года, начинает нравиться мысль о том, что он совершил настоящее, отнюдь не халтурное убийство. Естественно, ему не хочется, чтобы его преступление поблекло и выглядело опять чем-то заурядным, мещанским, привычным, одним из происшествий, которые несет с собой наша жизнь, запад, наша цивилизация, все больше и больше утрачивающая веру, христианский дух, всякий смысл и переходящая в хаос, где человек остается без путеводной звезды; в итоге смятение, одичание, кулачное право и отсутствие истинной нравственности. Таким образом, нашего добряка Трапса следует рассматривать не как преступника, а как жертву эпохи.

Трапс. Но это же не меняет того, что я убийца.

Адвокат. Трапс — типичный пример. Если я считаю его не способным убить, то вовсе не утверждаю этим, что мой подзащитный невинный человек, напротив, он запутался во всевозможных провинностях — он пошаливает с чужими женами, плутует, мошенничает, пробиваясь в жизни. Но

нельзя же считать, что его жизнь сплошь состоит из прелюбодеяний и надувательства, нет, нет, у него есть и положительные стороны, и безусловные добродетели. Он человек чести, если рассматривать в общем и целом, он лишь слегка подпорчен, тронут грибком неблагопристойности, как это бывает у заурядных людей, но вот именно поэтому он не способен на большой, цельный, вдохновенный деликт, то есть на решительное, на явное преступление. И теперь, маскируя собственную слабость, Трапс внушил себе, будто он совершил убийство.

Трапс. Все как раз наоборот, господин защитник. Это я раньше воображал, что невиновен, а теперь прозрел и вижу, что виновен.

Адвокат. Рассмотрим случай с Гигаксом трезво, объективно, не поддаваясь мистификации прокурора, и мы придем к заключению, что старый гангстер обязан своей смертью в основном самому себе, своему беспорядочному образу жизни, своей природной конституции. Что такое «директорская болезнь» — всем хорошо известно: беспокойство, шум, суматоха, расстроенные брак и нервы. Это надо теперь доказать. Я хочу задать моему клиенту один определенный вопрос: обвиняемый, какая была погода в тот вечер, когда умер Гигакс?

Трапс. Сильный фён, господин защитник, шторм, деревья вырывало с корнем.

Адвокат. Чудесно. Вот, пожалуй, и внешний толчок, который привел к смерти; как показывает опыт, при сильном фёне учащаются инфаркты миокарда, коллапсы, эмболии.

Трапс. Да не в этом дело!

Адвокат. Именно в этом, дорогой господин Трапс. Мы имеем дело с банальным несчастным случаем, из которого пытаются сконструировать убийство и доказать, будто не случай, а дьявольский расчет привел к смерти Гигакса. Желания понятны, но они еще не реальность. Конечно, подзащитный поступил жестоко, но он всего лишь подчинялся законам делового мира. Конечно, ему не раз хотелось убить своего шефа — чего только не подумаешь, чего только

не сотворишь в мыслях, но именно в мыслях; фактического же правонарушения нет и не может быть установлено. То, что обвиняемый хотел разозлить Гигакса злополучным известием об измене его жены, можно понять: Гигакс сам был жестоким, грубым, нещадно эксплуатировал своих подчиненных. И зачем обвинять нашего доброго Трапса еще и в том, что он больше не ходит к вдове? В конце концов это не было любовью! Нет, господа, возлагать такую вину на подзащитного — абсурд, но еще абсурднее то, что он сам внушил себе, будто совершил убийство. Вдобавок к автомобильной аварии он потерпел еще вторую аварию, душевную, и поэтому я предлагаю вынести Альфредо Трапсу оправдательный приговор.

Трапс (вне себя). Господа, я хочу сделать заявление!

Судья. Слово имеет обвиняемый.

Трапс (тихо). Я с возмущением выслушал чудовищную речь моего защитника. А вот речь прокурора глубоко потрясла меня. Насчет речи адвоката я не желаю высказываться, это сушая клевета, но в речь прокурора можно было бы внести кое-какие мелкие поправки, думаю, они помогут торжеству истины. Так, госпожа Гигакс приняла меня в тот вечер не в купальном халате, а в темно-красном кимоно; инфаркт у Гигакса случился не дома, а на одном складе, откуда его отправили в больницу, там, в кислородной палатке, он и умер. Но это, повторяю, несущественно. Я — убийца. Входя в ваш дом, я, вероятно, не хотел этого знать, а теперь знаю. Я не смел об этом думать, очевидно, я трусил быть честным, но теперь у меня есть мужество. Я виновен. С удивлением и ужасом я признаю это. Моя вина будто взошла во мне как солнце, она все освещает внутри, сжигает. Больше мне нечего сказать. Прошу суд вынести приговор.

Судья. Дорогой Альфредо Трапс, вы стоите перед частным судом. В этот торжественный момент мой долг — обратиться к вам с вопросом: признаете ли вы законным наш приговор — не государственного, а частного суда?

Трапс. Да, признаю.

Судья. Очень хорошо. Вы признаете наш суд. Я подымаю рюмку, наполненную золотистым коньяком тысяча восемьсот девяносто третьего года. Ты совершил убийство, Альфредо Трапс, не оружием, нет, одной лишь бездушностью, присущей тому миру, в котором ты живешь; прокурор хочет убедить нас, что все было сделано с умыслом, но мне это кажется не совсем доказанным. Ты убил только потому, что для тебя вполне естественно прижать кого-нибудь к стенке, действовать не считаясь ни с чем, а там будь что будет. В мире, в котором ты носишься на своем «студебеккере», с тобой ничего бы не случилось. Но ты заглянул к нам, на нашу тихую белую виллу, к четырем старичкам, и они посветили в глубь твоего мира ярким лучом правосудия. Правда, у нашей Фемиды странная внешность — знаю, знаю, — она ухмыляется четырьмя сморщенными физиономиями, подмигивает моноклем престарелого прокурора, отражается в пенсне позирующего адвоката, хихикает и лепечет беззубым ртом пьяного судьи, вспыхивает багровым румянцем на лысине толстого отставного палача. Да, это правосудие — гротеск, старая карга, пенсионерка, но даже в таком виде оно есть именно то правосудие, именем которого я приговариваю тебя, мой милый, бедный Альфредо, к смерти!

Трапс (*тихо, растроганно*). Благодарю, благодарю от всей души.

Судья. Палач, проводите осужденного в комнату для приговоренных к смертной казни.

Пиле. Зз-дорово.

Прокурор. Чудесный вечер, веселый, божественный вечер.

Судья. Хорошо сыграли.

Адвокат. У меня просто полоса невезения.

Прокурор. Наша работа окончена.

Адвокат. Ну что ж, осталось выполнить свои обязанности нашему дорогому Пиле. Самое время. Наступил рассвет, в окнах уже виден его тусклый отблеск, первые птички защибетали.

Пиле. Зз-дорово. Пойдемте, господин Трапс.

Трапс. Иду.

Пиле. Зз-дорово. Ступеньки. Держитесь за меня.

Трапс. Спасибо.

Пиле. Зз-дорово.

Трапс. Вы, наверное, уже многих... Я хочу сказать, уже многих водили на казнь?

Пиле. Еще бы. При моей-то практике...

Трапс. Понятно.

Пиле. Зз-дорово. Осторожней. Вот и споткнулись. Я по-дыму вас.

Трапс. Большое спасибо.

Пиле. Должен вам сказать, люди иногда очень пугались... Еле двигали ногами.

Трапс. Постараюсь не терять присутствия духа. А что это за странная вещь на стене?

Пиле. Тиски для пальцев.

Трапс. Тиски для пальцев?

Пиле. Зз-дорово, а?

Трапс. Это же орудие пытки?

Пиле. Античность. В доме полно этих вещиц. Господин Верге их собирает.

Трапс. А... этот станок?

Пиле. Ренессанс. Ломать кости... Вот ваша комната. Для смертников. А рядом — для осужденных к пожизненному.

Трапс *(в страхе)*. Что это? Слышите?

Пиле. Тобиас. Спит беспокойно.

Трапс. Еще кто-то стонет...

Пиле. Член парламента, позавчерашний. Никак не очухается с перепоя.

Трапс. Не притворяйтесь, господин Пиле, не надо, я понял, что это за дом. *(Задыхается от страха)*.

Пиле. Тихо, тихо. Сейчас все пройдет. Входите.

Скрип двери.

Широкая кровать, умывальник. Зз-дорово.

Трапс. Все уже не понадобится. А это что за мольберт?

Пиле. Какой мольберт? Это гильотина! Тоже из коллекции.

Трапс. Ги... гильотина?

Пиле. Зз-дорово... Пощупайте. Дуб. Сейчас подыму нож. Остер, наточили. Вот теперь готова. Ну и туго шла...

Трапс. Го-готова?

Пиле. Зз-дорово. Снимайте пиджак.

Трапс. Понятно. Так надо?

Пиле. Я вам помогу. Теперь расстегнем воротничок.

Трапс. Спасибо, я сам.

Пиле. Да вы дрожите.

Трапс. А что мне остается? В конце концов это не игрушка.

Пиле. Вы слишком много выпили. Так, воротничок расстегнули.

Трапс. Мне больше нечего сказать. Я убийца — и точка. Кончайте скорее.

Пиле. Зз-дорово.

Трапс. Я готов.

Пиле. А ботинки?

Трапс. Ботинки?

Пиле. Не хотите разуться?

Трапс. Уж это необязательно.

Пиле. Послушайте! Вы же воспитанный человек. Неужто ляжете в постель не разувааясь?

Трапс. В постель?

Пиле. А вам не хочется спать?

Трапс. Спать?

Пиле. Зз-дорово. Ну ложитесь, ложитесь.

Трапс. Но...

Пиле. Вот, теперь я вас укрою. Зз-дорово.

Трапс. Но я же убийца, господин Пиле, меня должны казнить, господин Пиле, ведь я должен... ну вот, ушел... погасил свет... Ведь я убийца — ведь я... я же... я устал... да и вообще все это игра, игра, только игра... *(Засыпает.)*

Симона. Господин Трапс! Проснитесь. Механик пригнал вашу машину.

Трапс. Какую машину?

Симона. Что с вами, господин Трапс? Уже девять часов.

Трапс. Девять? Боже мой, у меня столько дел. Ну и упилился я ночью. Ботинки, где ботинки? Так, воротничок, где пиджак... ага, висит на мольберте.

Симона. Быстро оделись, господин Трапс. Господин Верге просил его извинить. Желаете позавтракать? Член парламента уже в столовой.

Трапс. Некогда. Надо ехать. Опаздываю. До свиданья. Спасибо за гостеприимство. Было забавно... Теперь через сад, вот она, дорожка, усыпанная гравием.

Тобиас. Позвольте, я отопру калитку.

Трапс. А вы кто такой?

Тобиас. Я господин Тобиас. Ухаживаю за садом господина Верге. На чай не дадите?

Трапс. Вот марка.

Тобиас. Большое спасибо, большое спасибо.

Трапс. Машина в порядке?

Автомеханик. Дефект в сцеплении. С вас двадцать марок пятьдесят пфеннигов.

Трапс. Держите. За руль, вперед!

Тихая музыка, модный мотив.

Кажется, ночью я болтал какую-то чушь. А что было? Что-то вроде суда. И я вообразил, что кого-то прикончил. Бред! Ведь я мухи не обижу. До чего же могут додуматься пенсионеры... Бог с ними. У делового человека полно других забот. Ну Вильдхольц! Вижу, чем это пахнет. Хотел содрать с меня пять процентов. Пять! Вот нахал! Никакой жалости к нему, никакой! Свернуть шею, и точка. Без всякого снисхождения!!

Операция «Вега»

ГОЛОСА

Маннергейм

Сэр Гораций Вуд

Капитан Ли

Полковник Камилл Руа

Военный министр

Министр внеземных территорий

Государственный секретарь

Джон Смит

Петерсен

Ирена

Бонштеттен

Голос

Маннергейм. Господин президент Свободных объединенных штатов Европы и Америки! Возвращаясь к нашей беседе, я позволю себе представить вам записи, которые, согласно вашему желанию, я сделал во время операции «Вега». Записи касаются его превосходительства сэра Горация Вуда, а также переговоров, которые он вел. С неизменным почтением, верный вам, невзирая на эти темные времена, которые для нас наступили, ваш доктор медицины Маннергейм, сотрудник секретной службы. Итак, даю запись старта.

Голос. Продолжается посадка на космический корабль «Вега». Продолжается посадка на космический корабль «Вега».

Вуд. Ну, это касается нас, Маннергейм. Мы должны покинуть Землю. Остальные уже на борту.

Маннергейм. Я прошу ваше превосходительство надеть шляпу и черные очки.

Вуд. Разумеется.

Маннергейм. Шпионы могут нас узнать.

Вуд. Этого всегда следует опасаться.

Маннергейм. Это ваше первое космическое путешествие, сэр Гораций Вуд?

Вуд. Первое. Вы удивлены? Сегодня каждый ребенок летит на Луну или на Марс. Осуществились наши мечты. Но я слишком люблю Землю и слишком мало мечтаю. Говорят, что нигде нет такого приятного климата, как на нашей планете.

Маннергейм. Это верно, ваше превосходительство.

Голос. Пассажиры космического корабля «Вега» просят занять места. Пассажиры космического корабля «Вега» просят занять места.

Шаги.

Капитан. Ваше превосходительство!

Вуд. Вы капитан?

Капитан. Капитан Ли. Разрешите проводить ваше превосходительство в кабину?

Вуд. Вы очень любезны, капитан. С министрами внешних сношений следует обращаться грубее.

Капитан. Сюда, ваше превосходительство.

Вуд. Выглядит непривычно.

Капитан. Доктор Маннергейм к вашим услугам.

Вуд. Благодарю.

Маннергейм. Сейчас я вас пристегну, ваше превосходительство.

Вуд. Пожалуйста.

Маннергейм. Так хорошо, ваше превосходительство?

Вуд. Крепко.

Маннергейм. Я дам вам немного корамина. Сейчас я впущу в кабину кислород и гелий.

Вуд. Как вам угодно.

Тихое шипение.

Маннергейм. Желаете ли вы, ваше превосходительство, наблюдать за отлетом?

Вуд. Это любопытно.

Маннергейм. Вы видите космодром.

Вуд. Забавно. Ни одного человека.

Маннергейм. Они все в бункерах.

Вуд. Хорошее утро.

Маннергейм. Красный свет, ваше превосходительство. Через двадцать секунд мы стартуем.

Вуд. Жаль улетать. С удовольствием отправился бы сейчас на рыбалку.

Маннергейм. Еще десять секунд.

Вуд. А тут еще и солнце выходит.

Маннергейм. Мы стартуем.

Тихое гудение.

Вуд. Вот уже под нами столица, а вот море. Земля уходит от нас, Маннергейм.

Маннергейм. Как давление?

Вуд. Ничего.

Маннергейм. Повышается.

Вуд. Немного странное ощущение — ведь это впервые.

Маннергейм. Дышите спокойно!

Вуд. Стараюсь.

Маннергейм. «Вега» должна развить скорость тридцать шесть тысяч километров в час.

Вуд. Это мне не нравится. На автомобиле я никогда не езжу быстрее семидесяти.

Молчание. Слышно только гудение.

Маннергейм!

Маннергейм. Ваше превосходительство?

Вуд. Вы постоянный врач президента?

Маннергейм. Его дорожный врач. Я сопровождаю его на Марс.

Вуд. И он назначил вас сопровождать меня на Венеру?

Маннергейм. Это большая честь, ваше превосходительство.

Вуд. Гм.

Маннергейм. Желтый свет. Сейчас давление будет максимальным.

Вуд. По-видимому.

Маннергейм. Зеленый свет. Мы достигли необходимой скорости. Земное притяжение преодолено.

Вуд. Где же мы сейчас?

Гудение прекратилось.

Маннергейм. Восемьсот километров над землей.

Вуд. Высоковато.

Маннергейм. Разрешите вас отстегнуть, ваше превосходительство?

Вуд. Благодарю. Земля красива.

Маннергейм. Не правда ли?

Вуд. Изогнутый щит. Жаль, что она фальшива.

Маннергейм. Фальшива, ваше превосходительство?

Вуд. Обитатели ее не всегда говорят правду.

Маннергейм. Ваше превосходительство, не желаете ли посетить наблюдательный пункт?

Вуд. Проводите меня.

Шаги.

Маннергейм. Разрешите представить вам полковника Руа.

Вуд. Полковника Камилла Руа?

Руа. Так точно, ваше превосходительство.

Вуд. Это тот самый, который год назад предпринял нападение на Ханой?

Руа. Так точно, ваше превосходительство.

Вуд. А три года тому назад на Варшаву?

Руа. У вашего превосходительства хорошая память.

Вуд. Это у меня профессиональное, Руа, только профессиональное. Вот идет военный министр.

Военный министр. Вот и вы, Вуд. Один толчок, и уже несешься в космическом пространстве. Колоссально. Я был потрясен, когда двадцать лет назад проделал это впервые. Путешествие в космос стало удобным. Недавно встретил одного древнего старца, его прадед жил еще во времена пионеров космоса. Наши братья порхали тогда, как ангелочки, по ракете, а во время старта бывали раздавлены в лепешку. Не имели ни собственной тяжести, ни защиты от ускорения. Примитивный еще был народец. А вон видна Земля. Импозантное зрелище: висящий шар, как глобус на уроке географии, темно-фиолетовое небо, и на нем солнце и миллионы звезд. Панорама, Вуд, панорама: наконец и вы, в министерстве внешних дел, можете увидеть то, что называется широкий горизонт.

Маннергейм. А вот запись конференции, которая состоялась через три дня на борту «Веги» под председательством сэра Горация Вуда и объединила всех без исключения министров и государственных секретарей.

Вуд. Господа. Сперва я сделаю краткий обзор. Мы должны уяснить, чего мы хотели, что мы должны делать. После сорок пятого года у нас больше не было мировой войны, это уже триста десять лет. Был период частных конфликтов: война в Корее, гражданская война в Индии, отпадение Австралии и еще всяческие конфликты, как они там называются. Сейчас новая мировая война стала неизбежной, как ни тяжело в этом признаться министру внешних сношений. Триста лет мир готовился к этой войне.

Дипломатия исчерпала все свое искусство, холодная война не может больше продолжаться, мир невозможен, необходимость войны стала сильнее, чем страх перед ней. Свободные объединенные штаты Европы и Америки противостоят России и союзу Азии, Африки и Австралии. Оба противника приблизительно равны по мощи. Приблизительно. По этой печальной причине союзники Свободных объединенных штатов находятся на космическом корабле «Вега». Я хотел бы передать теперь слово министру внеземных территорий.

Министр внеземных территорий. Ваши превосходительства, господа. Наше положение не очень благоприятно. Луна потеряна, и эту потерю лично я воспринимаю больнее, чем потерю Австралии. Договор в Нью-Дели отнял от нас всю повернутую к Земле сторону, а несовместные с человеческой природой местные условия делают войну против русских военных укреплений невозможной.

Военный министр. Мы ни в коем случае не должны были подписывать договор в Нью-Дели!

Вуд. Я обращаю внимание военного министра Костелло на то, что он также не нашел никакого иного выхода в тот момент, когда я был вынужден подписать этот договор, о котором не менее его сожалею. Иная политика была невозможна, а ничем, кроме политики, мы не были вооружены. Я прошу министра внеземных территорий продолжать.

Министр внеземных территорий. Ваши превосходительства, господа. Марс объявил нейтралитет и слишком могуществен, чтобы его можно было склонить на нашу сторону или на сторону России. Остается Венера. Я прошу государственного секретаря по делам Венеры взять слово.

Вуд. Слово имеет государственный секретарь по делам Венеры.

Государственный секретарь. Ваши превосходительства. Я думаю, что собравшимся здесь членам правительства важно представить себе положение на Венере. Климат на этой планете убийственный. Она находится в состоянии, в котором Земля была примерно сто пятьдесят мил-

лионов лет тому назад. Венера не приспособлена к мало-мальски приличной человеческой колонизации. Россия и наши Объединенные штаты отозвали оттуда своих комиссаров.

Вуд. Я слышал об этом нечто другое.

Государственный секретарь. Чтобы быть точным, сэра Гораций Вуд, и наши, и русские комиссары отказались вернуться на Землю. Поэтому мы, так же как и Россия, решили послать туда новых.

Вуд. Кто был нашим последним комиссаром?

Государственный секретарь. Бонштеттен.

Вуд. Когда он был отозван?

Государственный секретарь. Уже более десяти лет.

Вуд. Почему он не вернулся?

Государственный секретарь. Причина неизвестна.

Вуд. Продолжайте, господин государственный секретарь.

Государственный секретарь. Ваши превосходительства, господа. Если планета Венера и не подходит для заселения, то все же она приносит известную пользу. Мы, так же как Россия и ее союзники, двести лет тому назад превратили Венеру в колонию для преступников и используем ее по сей день исключительно с этой целью. Наши космические корабли выгружают осужденных и уходят снова, не вступая с ними в более тесные контакты.

Вуд. Значит, эти осужденные свободны?

Государственный секретарь. Относительно, учитывая условия Венеры. Для Земли они мертвы.

Вуд. Какова политическая обстановка?

Государственный секретарь. Неизвестно.

Вуд. Число жителей?

Государственный секретарь. Неизвестно.

Вуд. Сколько мы послали туда?

Государственный секретарь. Мы посылаем туда тридцать тысяч ежегодно.

Вуд. А Россия?

Государственный секретарь. Неизвестно.

Вуд. Я не понимаю, для чего у нас отделение по делам

Венеры, если мы ничего не знаем об этой планете?

Государственный секретарь. Задача этого отделения, ваше превосходительство, организовывать транспорты заключенных. Что с ними происходит потом, отделения не касается. Главное, чтобы мы избавились от этих преступников.

Вуд. Какого типа осужденных посылаем мы на Венеру?

Государственный секретарь. Нравственно неполноценный человеческий материал. Уголовники, затем в первую очередь люди, которые придерживаются коммунистических взглядов и должны быть удалены из соображений безопасности.

Вуд. А кого посылает на Венеру Россия?

Государственный секретарь. Тоже уголовников, затем, конечно, людей, которые придерживаются прозападных идей и должны быть удалены из соображений безопасности.

Вуд. Однако на Венере находится не только нравственно неполноценный человеческий материал. Я прошу военного министра осведомить нас о своих целях.

Военный министр. Очень просто. Дело заключается в том, чтобы этот багаж, там, наверху, заполучить для войны против России и Азии. Стратегически планета Венера имеет то преимущество, что облачный слой ее атмосферы делает невозможным наблюдение ее поверхности. Наступление может быть подготовлено втайне, что на Земле неосуществимо, так как и русские и мы обладаем искусственными лунами, с которых ведем наблюдение друг за другом. Я полагаю, что население планеты Венеры насчитывает два миллиона. Для нападения с водородной кобальтовой бомбой на Азию и Россию мне потребуется двести тысяч человек. Космические корабли и бомбы они могут сделать сами, если мы отправим на Венеру нескольких ученых.

Вуд. Имеются ли в вашем распоряжении такие ученые?

Военный министр. Они находятся на борту.

Вуд. С кем мы ведем переговоры?

Министр внеземных территорий. С неким Петерсеном.

Вуд. Имеем ли мы более точные сведения об этом господине?

Министр внеземных территорий. Убийца из Германии.

Военный министр. Хорошие перспективы.

Министр внеземных территорий. Затем с Джоном Смитом.

Вуд. Что мы знаем о нем?

Министр внеземных территорий. Это сын американского коммуниста, родился на Венере.

Военный министр. Еще лучше.

Министр внеземных территорий. И наконец, с Яковом Петровым, о котором мы ничего не знаем.

Военный министр. По-видимому, русский.

Вуд. Господа. Наша миссия определена президентом. К нашему общему удивлению и некоторому недоумению, выясняется, что мы о Венере знаем немного. Я возглавляю эту миссию. Мы стоим перед трудной задачей. Мы еще не знаем, чего потребуют уполномоченные этой планеты, как мы с ними будем вести переговоры, встретим ли мы там диктатуру или парламентское государственное устройство нашего типа. Положение серьезное. Мы должны на все решиться, если не хотим все потерять, и мне остается только пожелать всего лучшего предприятию «Вега».

Маннергейм. Прежде чем я коснусь событий на Венере, я представлю еще два разговора, которые вел его превосходительство сэр Гораций Вуд. Первый — со мной, при взгляде на Венеру, которая в это время висела в пространстве перед нами большая, как Луна, но значительно более яркая, белая, угрожающая.

Вуд. Когда мы прибываем, Маннергейм?

Маннергейм. Через шесть часов, ваше превосходительство.

Вуд. Еще шесть часов, и вы приступите к выполнению вашего задания.

Маннергейм. Моего задания, ваше превосходительство?

Вуд. Президент поручил вам наблюдение за мной. Он

опасался, что я тоже останусь на Венере, как и наши комиссары.

Маннергейм. Я не понимаю, ваше превосходительство...

Вуд. Вы сотрудник секретной службы.

Маннергейм. Ваше превосходительство!

Вуд. У вас в кармане одна из тех маленьких машинок, при помощи которых можно записывать разговоры.

Маннергейм. Я не знаю...

Вуд. Но я знаю, Маннергейм. Как сотрудник секретной службы вы никогда не сознаетесь в том, что вы к ней принадлежите. Будем молчать об этом. Ведь мы оба знаем, чем мы рискуем.

Маннергейм. Второй разговор произошел между Вудом и полковником Руа на наблюдательном пункте перед самым прибытием. Разговор было трудно записать, так как я боялся возбудить подозрения, поэтому в записи имеются пробелы.

Вуд. Один вопрос, полковник Руа.

Руа. Ваше превосходительство?

Вуд. Три года тому назад вы совершили нападение на Варшаву на космическом корабле «Денеб»?

Руа. Так точно, ваше превосходительство.

Вуд. А год тому назад на Ханой, на космическом корабле «Атер»?

Руа. Совершенно верно, ваше превосходительство.

Вуд. Тогда я, кажется, вспоминаю... *(Дальше неразборчиво.)*

Руа отвечает невнятно.

Оба корабля были замаскированы под пассажирские?

Руа. Военная хитрость, ваше превосходительство.

Вуд. Наш корабль «Вега». Я плохо разбираюсь в небе, но «Атер», «Денеб» и «Вега» — название летних звезд?

Руа. Так точно, ваше превосходительство.

Вуд. Не есть ли это разные названия одного и того же корабля?

Руа. Ваше превосходительство весьма проникательны.

Вуд. Это тоже только моя профессия. *(Дальше неразборчиво.)*

Руа *(неразборчиво)*. ...

Вуд *(неразборчиво)*. ...вы опасный малый, Руа.

Руа. Я солдат.

Вуд. Вот именно. И вы на борту.

Руа. По желанию президента.

Вуд. С несколькими бомбами, как над Варшавой и Ханоем?

Руа. Я не знал, для чего.

Вуд. Чтобы подкрепить предложения, которые мы распространим среди обитателей Венеры.

Руа. Не могу ничего ответить, ваше превосходительство.

Вуд. Этого вы и не должны делать. Жители Венеры ожидают мирный корабль. Мы дали им слово прийти безоружными. С удивлением я обнаружил здесь ваше присутствие, полковник, но как министр внешних сношений Свободных наций, не могу себе позволить над этим задумываться. Нет ничего более удручающего, чем дипломат, чья правая рука знает, что делает левая.

Голос. Прошу разойтись по кабинам. Прошу разойтись по кабинам. Прошу пристегнуться. Прошу пристегнуться. «Вега» погружается в атмосферу Венеры...

Вуд. Забудем наш разговор, Руа.

Руа. Конечно, ваше превосходительство.

Вуд. Будем надеяться, что вам не придется мне его напоминать. Я этого не сделаю.

Голос. Прошу разойтись по кабинам. Прошу разойтись по кабинам. Прошу пристегнуться. Прошу пристегнуться.

Маннергейм. К следующей записи я хотел бы добавить — так как вы, господин президент, просили меня дать подробный отчет, — что впечатление, которое мы получили от Венеры, когда на нее высадились, трудно описать; это не

имеет ничего общего с изображениями Венеры, которые мы видим на Земле. Мы высадились в назначенном пункте, недалеко от северного полюса планеты, на берегу острова Ньютона. Конечно, все те особенности поверхности Венеры, которые мы изучали еще в школе, были налицо: гигантская растительность, окаймленный вулканами горизонт, но не это было страшно. Страшна была жара, влажность воздуха, непрерывные землетрясения, которые взрывают почву, изменяют, уничтожают и создают ее заново; свет не земной, особенный, который трудно описать. На этом небе нет солнца, только тяжелое колышущееся месиво облаков, пронизываемое ураганами невероятной силы, сверкающее серебром, как будто за этими массами пара и ливней бушует смертельный огонь, впечатление, которое усугубляется непрерывными электрическими разрядами в атмосфере. Сразу по прибытии мы наблюдали шаровые молнии диаметром в километр, которые трещали в гигантских девственных лесах из хвощей и папоротников. Мы покинули «Вегу». Почва колебалась, дрожала. За нами простирался девственный лес, фантастический, болотистый, перед нами — красный сверкающий песок, а в расплывчатой дали — бушующий океан. Мы ожидали увидеть громадную толпу людей, торжественную правительственную встречу. Его превосходительство сэр Вуд держал в руке маленькую записку с конспектом своей речи, он надел громадные роговые очки — но мы увидели всего трех человек в рваной одежде, состоящей только из штанов и рубашки. Они робко приблизились к нам с берега. Мы предположили, что они поведут нас на место переговоров, но, к нашему изумлению, это оказались сами уполномоченные.

Джон Смит (*тихо*). Я Джон Смит.

Вуд. Сэр Гораций Вуд.

Джон Смит. Господин Петерсен, господин Петров.

Вуд. Их превосходительства господин военный министр,

господин министр веземных территорий, мои главные сотрудники.

Джон Смит. Очень приятно.

Вуд. Господин Смит, господа. Эта минута, в которую мы вступили на Венеру, не лишена для нас величия; растроганные, стоим мы на этой столь необычной почве другой планеты.

Гром.

Свободные объединенные штаты Земли, представителями которых мы являемся, знают, что идеалы,

Более сильный гром.

что идеалы, которым мы себя подчинили и согласно которым мы стараемся жить,

Длительный гром.

гуманность

Гром.

и свобода

Более длительный гром.

могут существовать и на Венере, хотя, может быть, и в несколько иной форме,

Непрерывный гром.

поэтому мы прибыли к вам не из каких-либо соображений,

Воющий ветер.

но в силу стихийного решения, как говорил еще старый Томас Элиот...

Непрерывный гром, невероятный ураган, шум ливня.

Маннергейм. Его превосходительство, к сожалению, не смог закончить свою прекрасную речь. Разразилась невыносимая буря и заставила нас спастись бегством на высланный для переговоров корабль типа примитивной подводной лодки, куда мы добрались, промокнув насквозь. Мы были поражены. Мы предполагали, что будем вести переговоры в городе или в сельском доме. Я даю только отрывок первого заседания с уполномоченными Венеры, которое состоялось в ужасающих условиях. Двенадцатиглавая комиссия Объединенных свободных штатов была втиснута в малень-

кое скудно освещаемое помещение, которое швыряли из стороны в сторону волны чужого океана.

Джон Смит. Я приветствую представителей Свободных объединенных штатов Земли на нашем переговорном судне. Я прошу извинить господина Петрова. Он занят обслуживанием судна.

Вуд. Переговоры, которые мы должны вести, очень важны. Не может ли обслуживанием судна заняться кто-либо другой вместо господина Петрова?

Джон Смит. У нас нет никого другого.

Молчание.

Вуд. Господа. Я предлагаю определить местом переговоров главный город Венеры.

Джон Смит. У нас нет главного города.

Вуд. Большую населенную местность.

Джон Смит. У нас нет населенных местностей.

Вуд. Хотя бы помещение на суше.

Джон Смит. Другого помещения нет. Почва недостаточно надежна, чтобы выдерживать здания. Мы все живем на судах.

Вуд. Тогда я прошу дождаться лучшей погоды.

Джон Смит. Погода на Венере никогда не бывает лучше. Всегда плохая.

Вуд. Надо было переждать грозу.

Джон Смит. На Венере постоянные грозы. И эта еще не самая сильная.

Молчание.

Вуд. Между нами должна быть полная ясность, а пока мы еще немного знаем о положении на Венере. Разрешите спросить, каково отношение находящихся здесь уполномоченных к нашему правительству и как далеко простираются их полномочия?

Джон Смит. У нас нет никакого правительства.

Вуд (*удивленно*). Как я должен это понимать?

Джон Смит. Так, как я сказал.

Министр вземных территорий. Господин Петерсен!

Вуд. Его превосходительство министр вземных территорий имеет слово.

Министр вземных территорий. Господин Петерсен! Если мы правильно понимаем господина Смита, то население Венеры не имеет постоянного правительства, а только совет или народных представителей, которые действуют в истинно демократической форме, выполняя волю народа.

Петерсен. У нас нет ничего подобного.

Министр вземных территорий. Но Венерой ведь надо управлять!

Петерсен. Венера велика, а мы малы. Она опасна. Если мы хотим жить, мы должны бороться. Мы не можем себе позволить никакой политики.

Военный министр. Господин Смит!

Вуд. Его превосходительство военный министр имеет слово.

Военный министр. Вы называете себя уполномоченным Венеры, господин Смит?

Джон Смит. Так оно и есть.

Военный министр. Тогда кто-то должен был вас уполномочить. Кто же это?

Джон Смит. Я сам.

Молчание.

Военный министр (поражен). Значит, вы действовали от собственного имени, когда мы связались с вами по радио?

Джон Смит. Вы вели радиопередачи одновременно с нами. Вашу передачу мы приняли случайно. Мы хотели связаться с соседями, а услышали Землю.

Военный министр (сердито). И вы не смогли устоять перед искушением и выдали себя за уполномоченных Венеры.

Джон Смит. Мы ими являемся. Переговоры с вами — наш долг, так как мы поймали вашу радиопередачу. У нас никто не имеет права отказываться от задания, даже если это задание случайно и не по душе.

Военный министр. Для меня это слишком мудрено.

Молчание.

Вуд. Значит, если бы кто-то другой поймал нашу передачу, то разговоры вел бы он?

Джон Смит. Разумеется.

Вуд. И выступал бы в качестве уполномоченного?

Джон Смит. Он был бы уполномоченным.

Военный министр. С ума сойти!

Вуд. Господин Петерсен. Извещено ли население Венеры о нашем прибытии?

Петерсен. Мы сообщили об этом на соседнее судно.

Вуд. И что же?

Петерсен. Мы известим их о результатах наших переговоров.

Вуд. А если мы заключим соглашение?

Петерсен. Тоже сообщим.

Вуд. Признает ли население Венеры это соглашение?

Петерсен. Но мы ведь уполномоченные.

Вуд. Можно ли собрать суда с населением?

Петерсен. Если это нужно, но ведь в этом нет необходимости.

Вуд. Господа. Как глава миссии Свободных объединенных штатов Земли я оказался в положении, которого никак не ожидал. Прежде всего я предлагаю, чтобы собравшиеся здесь члены нашей миссии вернулись на наш космический корабль обсудить положение. Надо точно выяснить, господин Смит и господин Петерсен, можем ли мы вести переговоры с вами, так как на Венере не оказалось государства, которое могло бы выступить как юридическое лицо и с которым можно было бы заключить соглашение, если я — я не юрист, — если я точно выражаюсь. Поэтому я полагаю...

Маннергейм. Шестая пленка. Обсуждение на борту «Веги». Космический корабль покинул атмосферу Венеры и находится на расстоянии тысячи километров от планеты.

Военный министр. Минутой дольше в этом климате, и я

бы взбесился. Пускай одни русские сюда посылают. Никогда не видел более нелепой планеты.

Министр внеземных территорий. Невыносимо.

Военный министр. Во время отлета я заметил какое-то животное. Оно выглядело как хамелеон, метров пятидесяти длиной.

Министр внеземных территорий. Неприлично.

Вуд. Мне Венера показалась разумной. Каждый раз, когда я в своей речи упоминал об идеалах, начинало греметь.

Военный министр. Но к кому вы обращали свою речь, Вуд? К трем задрипанным рыбакам или что они там собой представляют, эти негодяи, которые в свободное время ловят наши радиопередачи и сумели завлечь на свою вшивую лодку дипломатическую миссию из трех министров и шести государственных секретарей.

Министр внеземных территорий. Нашим ученым понадобились годы, чтобы построить аппарат, при помощи которого можно наладить связь с Венерой так, чтобы не слышали русские!

Военный министр. Смехотворно!

Министр внеземных территорий. Как министр внеземных территорий, я все время предостерегал против этой авантюры.

Военный министр. Печальный случай. Сорок пять миллионов километров пролетели напрасно. Надо возвращаться на Землю.

Министр внеземных территорий. От этого безнадежного дела надо отказаться.

Вуд. На меня Венера произвела впечатление. Люди там свободны.

Министр внеземных территорий. Я еще раз предостерегаю вас.

Вуд. Никакого правительства. Каждый может быть уполномоченным. Это здорово.

Министр внеземных территорий. Малоприятно.

Вуд. Это всегда малоприятно, когда видишь идеалы осуществленными.

Военный министр. Ничего похожего на идеалы я там не обнаружил.

Вуд. А разве бывает более идеальная политика, чем та, при которой политика вообще уже не нужна?

Военный министр. Но не собираетесь же вы вести переговоры с этими бродягами?

Вуд. Это наш единственный шанс, господин военный министр.

Военный министр. Вуд, я вас не понимаю.

Вуд. Мы должны найти союзников.

Военный министр. На Венере нам это не удастся.

Вуд. Именно на Венере. На нашей первой конференции это было бесспорно доказано министром внеземных территорий.

Министр внеземных территорий. Я протестую. Я, напротив, всегда предостерегал...

Вуд. Господа. Мы не должны терять голову, иначе мы потеряем ее буквально. Мы неверно себе представляли положение на Венере. Мы, конечно, не знали точно, что нас ожидает, но предполагали найти нечто похожее на то, что существует у нас на Земле. Оказалось не так. Обитатели этой планеты находятся в состоянии жестокой борьбы с природой. У них не может быть никаких иных мыслей, как только победить в этой борьбе, каким-нибудь образом сохранить свою жизнь, даже если эта жизнь безрадостна. Сейчас мы им не нужны, но если мы сможем пробудить в них надежду на изменение их положения, мы станем им нужны. А это мы можем.

Министр внеземных территорий. Вы хотите предложить им деньги?

Вуд. Нечто лучшее: власть.

Министр внеземных территорий. Что вы задумали?

Вуд. Мы признаем Смита и Петерсена уполномоченными и, поскольку на Венере нет никакого правительства, делаем их правительством.

Военный министр. Мы не можем создать правительство из ничего.

Вуд. Из ничего, но не ничем, господин министр. Мы обеспечим этому правительству поддержку Объединенных штатов свободной части Земли.

Министр внеземных территорий. Я хотел бы вас предостеречь: Петерсен — преступник.

Вуд. Ну и что? Многие правительства, с которыми мы связаны на Земле, состоят из преступников. Во-первых, мы обещаем всем обитателям планеты возврат на Землю, если они вместе с нами победят русских.

Военный министр. Не слишком ли далеко вы заходите?

Вуд. Мы должны идти далеко, если хотим достичь далекой цели.

Министр внеземных территорий. Ради всего святого, куда мы их денем? Я хотел бы предостеречь...

Вуд. Любой климат на Земле покажется им райским.

Молчание.

Маннергейм. Ваше превосходительство!

Вуд. Что, Маннергейм?

Маннергейм. А если жители Венеры не захотят?

Вуд. Чего не захотят?

Маннергейм. Не захотят вернуться, ваше превосходительство.

Вуд (*сердито*). Ерунда, Маннергейм. Нет такого ада, из которого с радостью не убежали бы.

Маннергейм. Вспомните о Бонштеттене. Он остался. И другие комиссары тоже.

Вуд. Не беспокойтесь, молодой человек. Я знаю Бонштеттена. Я учился с ним в Оксфорде и в Гейдельберге. Это был человек не от мира сего, с дикими идеями. Венера, должно быть, полностью его излечила, можете быть в этом уверены. Вы будете удивлены, с какой радостью он вернется вместе с нами.

Маннергейм. Итак, мы вернулись обратно. Запись второго прибытия на Венеру.

Гром, дождь.

Их превосходительства шагают по берегу в военных пла-

щах, защищающих от дождя и песка. Дождь горячий, песок раскален. Температура около пятидесяти градусов. Нам навстречу идет женщина. На вид ей лет тридцать. Она одета так же, как те мужчины, ничто не защищает ее от низвергающихся потоков воды.

Гром то близко, то вдали.

Ирена. Вы господин Вуд?

Вуд. Да, это я.

Ирена. Я — Ирена.

Вуд. Вы хотите проводить нас к господину Смиуту и господину Петерсену?

Ирена. Смит и Петерсен не могут прийти.

Военный министр. Но ведь мы договорились...

Ирена. Они обнаружили кита, так мы называем этих животных. Они, правда, не такие, как киты на Земле, но их можно есть. Большая часть животных здесь несъедобна. Для нас очень важна охота на китов.

Министр внеземных территорий (*с отчаянием*). При всем уважении к этим съедобным китам, которые немного кажутся и моего ведомства, так как я министр внеземных территорий, с кем же мы теперь должны вести переговоры?

Ирена. Со мной.

Военный министр (*удивленно*). С вами?

Ирена. Я новая уполномоченная. Петерсен мне все рассказал. Мы можем разговаривать в столовой госпитального судна, на котором я работаю сестрой. Врач мне разрешил. Но только недолго, сказал он.

Гром.

Маннергейм. Восьмая пленка. Столовая госпитального судна. Обстановка самая примитивная. Все мокрое. Переговорам с медсестрой предшествует разговор министров.

Военный министр (*тихо*). Уйдемте отсюда.

Министр внеземных территорий. Я всегда предостерегал...

Военный министр. Ваш план провалился, Вуд.

Вуд. Но почему?

Военный министр. Вы хотите сделать Смита и Петерсена правительством, а они отправились ловить китов!

Министр веземных территорий. Никогда еще ни одна дипломатическая миссия даже отдаленно не подвергалась таким оскорблениям. Держат нас, как дураков, в вонючей столовой.

Военный министр. Если бы мы не имели на своем горбу русских, следовало бы объявить этим типам войну. Есть же у нас в конце концов наша земная гордость!

Вуд. Ну? И что тогда?

Молчание.

Военный министр. Сэр Гораций Вуд! Значит ли это, что вы собираетесь признать эту больничную сестру в качестве правительства Венеры?

Вуд. Безусловно.

Министр веземных территорий. Но это невозможно.

Вуд. Игра бывает проиграна только тогда, когда ее прекращают.

Военный министр. Вуд, для меня это слишком возвышенно. Я вообще больше ничего не понимаю в политике.

Вуд. Легко понять только политику ослов, дорогой господин министр.

Откуда-то слышатся стоны и крики.

Что это за стоны, Маннергейм?

Маннергейм. Я полагаю, роды, ваше превосходительство.

Министр веземных территорий. Поэтому исчезла Ирена...

Военный министр. Мы будем вести переговоры среди роженец.

Министр веземных территорий. Эта жара!

Военный министр. Вот сестра наконец возвращается.

Ирена. Господа. Я привела моего мужа. Он глухонемой. Эта болезнь здесь случается часто. Он съест свой суп. Другого помещения у нас нет.

Молчание.

Вуд. Ну конечно.

Ирена. Что вы хотели нам сказать?

Вуд. В качестве главы нашей миссии я могу сделать сообщение: Свободные объединенные штаты Земли официально признают вас как уполномоченную и, таким образом, как главу правительства.

Ирена. Этого я не понимаю.

Вуд. Мы высоко оцениваем то обстоятельство, что население Венеры не нуждается в правительстве, что объясняется оторванностью этой планеты от остальной солнечной системы. Но так как Свободные объединенные штаты Земли политически признали Венеру, то формально правительство необходимо; поэтому уполномоченные Венеры автоматически отождествляются с ее правительством.

Ирена. Я медицинская сестра. Я не понимаю ни слова из того, что вы говорите.

Вуд. И не нужно. Это чисто дипломатическая рабочая предпосылка, которая позволит нам заключить договора с населением Венеры.

Ирена (*с некоторым нетерпением*). Хорошо. Если вы непременно этого хотите. Я глава государства.

Вуд (*радостно*). Я обдумываю сейчас торжественную государственную церемонию. Мы созовем возможно большее количество жителей Венеры.

Ирена. Для чего?

Министр внеземных территорий. Чтобы сделать вас главой государства.

Ирена. Но ведь вы это уже сделали.

Военный министр. Это должно произойти публично, при участии широкой общественности.

Вуд. Обитатели Венеры имеют право узнать, что они наконец получили правительство, которое признано всеми нациями. Я убежден, что и Марс захочет признать Венеру.

Ирена. Но это никого не интересует.

Министр внеземных территорий (*возмущен*). Сударыня!

Ирена. Я — правительство Венеры только по отношению к Земле. Вы объявили уполномоченного главой государства. Это ваше дело. Случайно этот уполномоченный — я, так как у меня сегодня свободный вечер. Завтра это будет другой,

если кто-нибудь еще сможет освободиться. Я уже сказала, что началась охота на китов.

Министр внеземных территорий. Но невозможно же каждый день менять правительство!

Ирена. Это вам нужно, чтобы у нас было правительство. Нам оно не нужно.

Военный министр. Мы вертимся по кругу.

Министр внеземных территорий. И к тому же эта жара! Эта гнетущая, невыносимая жара!

Ирена. Что вы, собственно, от нас хотите?

Вуд. Сударыня!

Ирена. Не называйте меня «сударыня». Я Ирена.

Вуд. Ирена. Речь идет о том, чтобы защитить свободу.

Ирена. Зачем?

Министр внеземных территорий (*стонет*). Сударыня!

Рядом крик: «Нет! Нет!»

Ирена. Извините. Там должна быть произведена ампутация, а у нас нет никакого наркоза.

Военный министр. О, пожалуйста.

Министр внеземных территорий. Ну и жара! Я просто не могу больше выдержать!

Вуд. Вопрос о том, как надо защищать свободу, Ирена, конечно, не ставится еще на этой счастливой планете — я имею в виду ее политическое положение, — но он ставится на нашей планете, и нет сомнения, что он возникнет и здесь, если победят силы, которые угрожают свободе на Земле. Свободным объединенным штатам угрожают Россия и ее сателлиты...

Маннергейм. Так как речь, в которой его превосходительство разъяснял больничной сестре наши исходные положения, сильно искажена, частью из-за неудачной записи, частью из-за происходившей рядом ампутации, то я перехожу к отчету о последовавших переговорах.

Министр внеземных территорий. Ну и жара!

Стены.

Вуд. Наше исходное положение, наши намерения и наше предложение должны быть, таким образом, ясны правительству Венеры.

Ирена. Значит, вы хотите, чтобы мы участвовали в войне против России?

Вуд. Разумеется.

Ирена. Но Россия нам не угрожает.

Молчание.

Военный министр. Я должен задать вам вопрос, Ирена.

Ирена. Спрашивайте.

Военный министр. Вы — русская?

Ирена. Я полька. Эвакуирована шесть лет тому назад.

Министр внеземных территорий (*слабым голосом*). Очевидно, за то, что вы преступили высокие идеалы свободы, гуманности и частной собственности?

Ирена. Я была проституткой.

Молчание.

Вуд. Милое дитя...

Ирена. Вы забываете, что говорите с главой государства.

Вуд. Сударыня. Я еще раз даю торжественное обещание, что жители Венеры получат разрешение вернуться на Землю, если они будут участвовать в этой войне.

Ирена. Мы не хотим возвращаться.

Молчание.

Вуд. Сударыня. Не забывайте, что вы сейчас говорите от имени всех. Я готов понять, что вы из личных соображений не хотите возвращаться, но ведь здесь есть люди, которых отправили на Венеру в заключение за то, что они на Земле боролись за свободу, за достойную жизнь. Эти захотят вернуться.

Ирена. Я не знаю никого, кто хотел бы вернуться.

Министр внеземных территорий. Ну и жара... ну и жара...

Маннергейм. Ваше превосходительство, министр внеземных территорий упал в обморок.

Вуд. Осмотрите его, Маннергейм.

Маннергейм. Мы должны вернуться на космический корабль, ваше превосходительство. Его жизнь в опасности.

Военный министр. Я тоже не могу больше выдержать, Вуд. Я весь в поту, а вы смертельно бледны.

Вуд (*с трудом*). Хорошо, Костелло. Мы идем. Сестра Ирена, будет ли мое предложение распространено среди обитателей Венеры?

Ирена. Если вы этого хотите.

Вуд (*пылко*). Я хочу этого. Вы, по-видимому, не представляете себе всей важности нашей миссии. Мы возвращаемся на наш космический корабль и завтра вернемся снова. Мы не знаем, с кем мы тогда будем вести переговоры. Но мы должны иметь уверенность, что наше предложение будет доведено до сведения всех обитателей Венеры.

Ирена. Если для вас это так важно.

Маннергейм. Девятая пленка. В кабине его превосходительства на борту «Веги», в ста пятидесяти километрах от Венеры.

Тяжелое дыхание.

Маннергейм. Теперь еще укол кальция.

Вуд. Как хотите.

Маннергейм. Я впущу еще немного кислорода в кабину.

Легкое шипение.

Вуд. Как себя чувствует министр?

Маннергейм. Плохо.

Вуд. А военный министр?

Маннергейм. Тоже неважно. А с государственным секретарем по делам Венеры при подъеме случился удар.

Вуд. Очень сожалею. Как его состояние?

Маннергейм. Безнадежно.

Вуд. А как мои дела?

Маннергейм. Белок.

Вуд. Это у меня часто бывает.

Маннергейм. Плохое давление.

Вуд. Подумаешь!

Маннергейм. Повышенная температура.

Вуд. Это от злости, Маннергейм.

Маннергейм. Военный министр, ваше превосходительство.

Вуд. Присядьте ко мне на кровать, господин министр.
Военный министр. Благодарю. Это мне необходимо. Вначале мы вели переговоры с бандитом и с сыном коммуниста, потом с уличной девкой, которую мы сделали главой государства. Интересно, с кем мы будем совещаться в следующий раз. Должно быть, с дворником и с убийцей-садистом. Не мешало бы нам поискать других партнеров для переговоров.

Вуд. Здесь есть только одиночные корабли, которые носятся где-то по океану, и мы их не можем найти.

Военный министр. А радиосвязь?

Вуд. Никто не отвечает.

Военный министр. Меня возмущает, что нами никто не интересуется. Эти типы могли бы хоть проявить любопытство.

Маннергейм. Полковник Руа хочет говорить с вашим превосходительством.

Молчание.

Вуд. Пожалуйста.

Молчание.

Руа. Ваше превосходительство.

Вуд (*медленно*). Что вы хотите, полковник Руа?

Руа. Ваше превосходительство знает это.

Вуд (*нерешительно*). Вы пришли, чтобы напомнить мне наш разговор.

Руа. Так точно, ваше превосходительство.

Вуд. Сколько... бомб... имеется у нас на борту?

Руа. Десять.

Молчание.

Вуд. По приказанию президента Свободных объединенных штатов?

Руа. По приказанию президента.

Молчание.

Военный министр. Я знаю, это неприятно. Теперь, когда постоянно возятся с идеалами, Вуд. Но пошлите какого-нибудь государственного секретаря к этим людям с ультиматумом...

Молчание.

Вуд. Я сам пойду к ним, господин министр. Один, с Маннергеймом.

Маннергейм. Десятая пленка. Его превосходительство и меня глухонемой... муж... проститутки проводил в столовую госпитального судна, где в полумраке сырого помещения нас ожидал худой человек лет шестидесяти.

Бонштеттен. Мне трудно сказать тебе — добро пожаловать, Вуд. Ты являешься с печальной миссией.

Вуд. Ты...

Бонштеттен. Бонштеттен. Мы с тобой учились в Оксфорде и в Гейдельберге.

Вуд. Ты изменился.

Бонштеттен. Изрядно.

Вуд. Мы вместе читали Платона и Канта.

Бонштеттен. Именно.

Вуд. Мне следовало понять, что все это твоя работа.

Бонштеттен. Я ничего не делал.

Вуд. Ты был нашим комиссаром и стал командовать на Венере.

Бонштеттен. Чепуха. Я стал врачом, и сейчас у меня свободный час. Сейчас я уполномоченный и буду с тобой говорить.

Вуд. А русский комиссар?

Бонштеттен. Охотится на китов. У тебя есть сигарета?

Вуд. Маннергейм тебя угостит.

Бонштеттен. Десять лет не курил. Интересно, как это будет на вкус.

Маннергейм. Огня?

Бонштеттен. Благодарю.

Вуд. Ты в курсе дела?

Бонштеттен. Конечно, Ирена мне все рассказала. Мило, что вы назначили ее главой правительства. Мы теперь называем ее только превосходительством.

Вуд. Остальных оповестили?

Бонштеттен. Мы радировали на все корабли, хочет ли кто-нибудь вернуться на Землю.

Вуд. И что?

Бонштеттен. Желающих нет.

Молчание.

Вуд. Я устал, **Бонштеттен.** Я должен сесть.

Бонштеттен. У тебя, наверно, белок и повышенная температура. Это у нас у всех здесь было первое время.

Молчание.

Вуд. Значит, никто из вас не хочет вернуться?

Бонштеттен. Да, это так.

Вуд. Я не могу этого понять.

Бонштеттен. Ты с Земли. Поэтому ты не можешь понять.

Вуд. Вы ведь тоже с Земли.

Бонштеттен. Мы это забыли.

Вуд. Но здесь же невозможно жить!

Бонштеттен. Мы можем.

Вуд. Это, должно быть, ужасная жизнь.

Бонштеттен. Правильная жизнь.

Вуд. Что ты хочешь этим сказать?

Бонштеттен. Кем я был на Земле, **Вуд?** Дипломатом. **Ирена?** Девкой. Другие были бы преступниками, а некоторые идеалистами, преследуемыми какой-нибудь государственной машиной.

Молчание.

Вуд. А теперь?

Бонштеттен. Ты видишь, я врач.

Вуд. И оперируешь без наркоза.

Бонштеттен. Сигарета уже не имеет вкуса. Она намочла в этой сырости и только чадит.

Молчание.

Вуд. Я хочу пить.

Бонштеттен. Вот тебе кипяченая вода.

Вуд. Этот чертовский лимонно-желтый свет в люках... от вонючих паров этого воздуха мне делается дурно.

Бонштеттен. Другого воздуха здесь нет, меняется только

цвет. Лимонно-желтый, иногда как светлое серебро, чаще песочно-красный.

Вуд. Я знаю.

Бонштеттен. Мы всё должны делать себе сами. Орудия труда, одежду, суда, радиоаппаратуру, оружие, чтобы сражаться с гигантскими животными. Всего не хватает. Опыта. Знаний. Того, к чему привыкли. Доверия к почве, которая непрерывно меняется. Нет медикаментов. Растения, плоды, которых мы не знаем, большей частью ядовиты. Даже к воде только постепенно можно привыкнуть.

Вуд. У нее отвратительный вкус.

Бонштеттен. Пить можно.

Молчание.

Вуд. На что вы променяли кроткую Землю? Дымящиеся океаны. Горящие континенты, пылающие красные пустыни. Бушующее небо. Какое познание вы обрели взамен?

Бонштеттен. Человек есть нечто ценное, и жизнь его — милость.

Вуд. Смехотворно. Это открытие мы на Земле сделали давно.

Бонштеттен. И что же? Вы живете согласно этому открытию?

Молчание.

Вуд. А вы?

Бонштеттен. Венера заставляет нас жить согласно нашему познанию. Это разница. Если мы здесь не будем помогать друг другу, мы погибнем.

Вуд. Поэтому ты не вернулся?

Бонштеттен. Поэтому.

Вуд. И предал Землю?

Бонштеттен. Я дезертировал.

Вуд. В ад, который считаешь раем.

Бонштеттен. Если бы мы вернулись, мы должны были бы убивать, так как помогать и убивать у вас одно и то же. Мы больше не можем убивать.

Молчание.

Вуд. Вы должны быть благоразумны. Вы тоже в опасности.

Если русские нас победят, они явятся сюда.

Бонштеттен. Мы не боимся.

Вуд. Вы плохо оцениваете политическое положение.

Бонштеттен. Ты забываешь, что мы — штрафная колония со всей Земли. Человечество борется за обладание доходными земельными участками и хорошим жильем, а не за общую отхожую яму. Нами никто не интересуется. Мы нужны вам сейчас только для того, чтобы выпустить нас, как собак, впереди вашей военной машины. Как только окончится война, отпадет и эта необходимость. Конечно, вы можете нас сюда послать, но не можете заставить нас вернуться. У вас нет власти над нами. Вы нас изъяли из человечества. Венера страшнее вас. Кто вступает на ее почву, подпадает под ее законы, в качестве кого бы он ни явился, и он не получит никакой иной свободы, кроме здешней.

Вуд. Свобода подохнуть.

Бонштеттен. Свобода действовать правильно и делать необходимое. На Земле мы этого не могли. И я не мог. Земля слишком прекрасна. Слишком богата. Ее возможности слишком велики. Она приводит к неравенству. Бедность на ней — позор, и она этим опозорена. Только здесь бедность нечто естественное. К нашей пище, к нашим топорам прилипает только наш пот и ни капли несправедливости, как на Земле. И поэтому мы боимся Земли. Боимся ее избытка, боимся фальшивой жизни, боимся рая, который в действительности — ад.

Молчание.

Вуд. Я должен сказать тебе правду, Бонштеттен. У нас с собой бомбы.

Бонштеттен. Атомные бомбы?

Вуд. Водородные бомбы.

Бонштеттен. В кобальтовой оболочке?

Вуд. В кобальтовой оболочке.

Бонштеттен. Так я и думал.

Вуд. Я об этом не имел понятия. Это сделано по приказу президента. Я был поражен, когда вчера об этом узнал, Бонштеттен.

Бонштеттен. Я тебе верю.

Вуд. Мне, конечно, неприятно. Но мы в безвыходном положении. В нашей доброй воле сомневаться не приходится. Свобода и гуманность в конце концов победят.

Бонштеттен. Несомненно.

Вуд. Мы просто вынуждены в настоящий момент принять такие крайние меры.

Бонштеттен. Разумеется.

Вуд. Мне действительно жаль, **Бонштеттен.**

Молчание.

Бонштеттен. Вы бросите бомбы, если мы откажемся вам помогать.

Вуд. Мы вынуждены.

Бонштеттен. Мы не можем вам помешать.

Молчание.

Вуд. Вы погибнете.

Бонштеттен. Многие. Некоторые уцелеют. Когда вы явились, суда были предупреждены. Обычно мы живем вблизи друг от друга, сейчас мы рассеялись по всей планете.

Вуд. Вы всё предусмотрели?

Бонштеттен. Мы ведь все-таки тоже были на Земле.

Молчание.

Вуд. Мне пора идти.

Бонштеттен. Тебе придется отдохнуть, когда ты вернешься. Поезжай в Швейцарию. В Энгадин. Я там был однажды, пятнадцать лет тому назад. Никогда не забуду этого синего неба.

Вуд. Боюсь... политическая ситуация...

Бонштеттен. Да, конечно. Ваша политическая ситуация. Об этом я не подумал.

Вуд. У тебя на Земле еще есть семья. Твоя жена, два сына — хочешь ли ты им что-нибудь передать?

Бонштеттен. Нет.

Вуд. Прощай. Живи счастливо.

Бонштеттен. Умри счастливо, хочешь ты сказать. Мое судно не уйдет от ваших бомб.

Вуд. **Бонштеттен!**

Бонштеттен. Муж Ирены доставит тебя на берег.

Вуд. Бомбы мы, конечно, не будем применять, Бонштеттен. Я только угрожал. Это была бы бессмысленная жестокость, ведь мы не можем вас принуждать. Я даю тебе слово.

Бонштеттен. Я не принимаю его.

Вуд. Я не палач!

Бонштеттен. Но ты человек с Земли. Ты не можешь отказаться от действия, которое было задумано.

Вуд. Я тебе обещаю.

Бонштеттен. Ты нарушишь свое обещание. Твоя миссия провалилась. Ты еще жалеешь меня. Но когда ты вернешься на корабль, твоя жалость пройдет, а твоя подозрительность проснется. Ты подумаешь — русские могут явиться и заключить с ними соглашение. Ты, правда, знаешь, что это невозможно, что мы ответили бы русским так же, как ответили вам, но к твоему знанию приклеится крупница опасения, что, может быть, мы все-таки объединимся с вашим врагом; из-за этой крупницы опасения, из-за легкой неуверенности ты распорядишься сбросить на нас бомбы. Даже если это бессмысленно, даже если ты поразишь невинных, и так мы окончим нашу жизнь.

Вуд. Ты мой друг, Бонштеттен. Я не могу убить друга!

Бонштеттен. Когда жертву не видят, убивают легко. А ты ведь не увидишь, как я буду умирать.

Вуд. Ты говоришь так, как будто умирать легко!

Бонштеттен. Все неизбежное легко. Надо только принять это. А самое неизбежное, самое естественное на этой планете — это смерть. Она повсюду и во всякое время. Слишком сильная жара. Слишком большое облучение. Даже море радиоактивно. Всюду черви, которые проникают под нашу кожу, в наши внутренности, бактерии, которые отравляют нашу кровь, вирусы, которые разрушают наши клетки. Континенты полны непроходимых болот, повсюду кипящие масляные озера и вулканы, гигантские вонючие звери. Мы не боимся ваших бомб, так как мы живем рядом со смертью и потому вынуждены были научиться не бояться ее.

Молчание.

Вуд. Вы неприступны под защитой вашей нищеты и близости к смерти.

Бонштеттен. Теперь иди.

Вуд. Бонштеттен! Я тобой восхищаюсь. Ты прав, а я не прав. Я признаюсь в этом.

Бонштеттен. Это мило с твоей стороны.

Вуд. Меня глубоко тронуло то, что ты сказал о вашей бедности и жизни, полной опасностей.

Бонштеттен. Это хорошо с твоей стороны.

Вуд. Если бы я не был сейчас министром внешних сношений Свободных объединенных штатов Земли, я бы остался с тобой.

Бонштеттен. Это благородно с твоей стороны.

Вуд. Но я, конечно, не могу так вдруг предать Землю.

Бонштеттен. Это ясно.

Вуд. Как ужасно, что я несвободен в этом отношении.

Бонштеттен. Не огорчайся.

Вуд. Бомбы не будут сброшены.

Бонштеттен. Не будем больше об этом говорить.

Вуд. Даю слово.

Бонштеттен. Будь здоров.

Маннергейм. Одиннадцатая пленка. Космический корабль «Вега» летит обратно на Землю.

Руа. Ваше превосходительство?

Вуд. Переговоры кончились безрезультатно, полковник Руа.

Руа. Тогда я сброшу бомбы, ваше превосходительство.

Молчание.

Ваше превосходительство должны решиться.

Молчание.

Приказ президента.

Молчание.

Вуд. Если это приказ президента, полковник Руа, сбрасывайте бомбы. По возможности равномерно по всей Венере.

Руа. К старту готов.

Голос. К старту готов.

Вуд. Проводите меня в мою кабину, Маннергейм.

Шаги.

Маннергейм. Я вас пристегну, ваше превосходительство.

Вуд. Пожалуйста.

Маннергейм. Так достаточно крепко, ваше превосходительство?

Вуд. Достаточно.

Маннергейм. Красный свет, ваше превосходительство, через двадцать секунд мы стартуем.

Молчание.

Еще десять секунд.

Вуд. Я потерпел поражение.

Маннергейм. Мы стартуем.

Легкое гудение.

Вуд. Маннергейм!

Маннергейм. Ваше превосходительство?

Вуд. Русские могли бы явиться и заключить с ними соглашение.

Маннергейм. В том-то и дело.

Вуд. Это, правда, маловероятно, но все же возможно.

Маннергейм. К сожалению.

Руа. Бомбы готовы?

Голос. Готовы!

Вуд. Эта возможность, как она ни маловероятна, заставляет нас сбросить бомбы.

Руа. Открыть люки!

Голос. Открыты.

Вуд. Мы должны действовать наверняка.

Маннергейм. Наверняка, ваше превосходительство.

Руа. Сбросить бомбы!

Голос. Готово.

Вуд. На какой мы высоте?

Маннергейм. Сто километров.

Руа. Включить максимальную скорость!

Голос. Включена.

Вуд. Как чувствует себя министр вземных территорий?

Маннергейм. Он оживает.

Вуд. Военный министр?

Маннергейм. Пришел в себя.

Вуд. И я чувствую себя лучше.

Маннергейм. Завтра состоится совет министров.

Вуд. Деловая жизнь продолжается.

Руа. Бомбы у цели?

Голос. У цели.

Молчание.

Вуд. Действие?

Маннергейм. Вне поля зрения. Но мы можем себе представить.

Молчание.

Вуд. Меня от всего этого мутит. Эта Венера ужасна. В конце концов там наверху одни преступники. Уверен, что Бонштеттен хотел связаться с русскими. Все это был грязный театр, то, что они там изображали.

Маннергейм. Я тоже так полагаю, ваше превосходительство.

Вуд. Теперь бомбы упали, а скоро они будут падать и на Земле. Я доволен, что у меня прочное бомбоубежище. От моего ведомства. А отпуск — во время войны министр внешних сношений его всегда имеет. Только от рыбалки придется отказаться. Буду читать классиков. Лучше всех Томас Стерн Элиот. Он меня успокаивает лучше всего. Нет ничего более вредного, чем волнующее чтение.

Маннергейм. Ваше превосходительство, золотые слова!

Страницкий и Национальный герой

ГОЛОСА

Диктор

Министр внутренних дел

Страницкий

Господин с окладистой бородой

Корбмахер

Антон

Мария

Разносчик газет

Флейшер

Зевейн

Продавец памятных значков

Полицейский

Главный редактор Доннер

Национальный герой

Вайтблейк

Фройляйн Луиза

Голос сзади и другие голоса

Диктор. Эта история — про болезнь Национального героя Бальдура фон Меве, которого знает и о котором говорит весь мир, и про одного инвалида, которого никто не знает. Болезнь Национального героя вызвала сенсацию.

Министр внутренних дел. Эта болезнь коварна...

Диктор. Как выразился в своем выступлении по радио министр внутренних дел.

Министр внутренних дел. Но наш Национальный герой может быть уверен...

Диктор. Как добавил министр.

Министр внутренних дел. ...что в этом тяжком испытании с ним любовь и почитание всей нации.

Диктор. Напротив, случай инвалида...

Страницкий (*скромно*). Страницкого.

Диктор. ...Страницкого — лишь один из многих. Конечно, этот случай достоин сожаления, однако времена были не-легкие, и мы все достаточно пережили. История начинается в восточных кварталах нашей столицы, вблизи парфюмерной фабрики Губера и трикотажного концерна «Диана и К°», на верхних этажах доходного дома, неоднократно испытывавшего на себе мучительные потрясения эпохи, но чудесным образом устоявшего. Мы находимся в комнате четырнадцать, на шестом этаже, под самой крышей. Полшестого утра. В доме повсюду шум. Резкий запах отхожих мест. В соседний номер, пятнадцатый, только что вернулся господин с окладистой бородой, который всегда навеселе и чей род занятий никому не известен.

Господин с окладистой бородой (*во все горло*).

Луиза очень хороша,

Ох, хороша — и ша!

Диктор. В это время другой соседний номер, тринадцатый, покидает, и не одна, фройляйн Мюллер, Луиза Мюллер, чей род занятий, напротив, всем известен, — но умолчим об этом. Повсюду детский крик.

Слышен детский крик.

Этажом ниже радио играет траурный марш Шопена.

Слышен траурный марш.

А прямо под четырнадцатой комнатой, у Корбмахеров, как каждое утро в это время, происходит ссора.

Корбмахер. Крыса! Потаскуха!

Слышен звон бьющейся посуды.

Диктор. Наверху же, в комнате четырнадцать, наполненной всеми этими звуками — детским криком, пьяным пением и траурным маршем, а вдобавок храпом огромного человека в изрядно поношенной одежде, расположившегося на ночлег на дырявом матрасе, — как раз напротив него на таком же матрасе лежит инвалид...

Страницкий (*скромно*). Страницкий.

Диктор. ...Страницкий, кое-как прикрытый старой шинелью, и, бледный от волнения, пробегает глазами строчки газеты.

Страницкий. Я так взволнован, прямо газета падает из рук! Печальная весть о нашем Национальном герое Бальдуре фон Меве! Как это здорово, что вчера, возвращаясь домой после тарелки супа, я углядел на обочине тротуара газету. Антон, сказал я своему бравому матросу, который всегда толкает мою тележку по улицам столицы и, как ребенка, поднимает меня на пятый этаж и которому я в этой окаянной сделке одалживаю свои глаза в обмен на его ноги, — эй, Антон, сказал я, там лежит газета. Согни-ка свои два метра десять, пошарь немного левее, и она будет наша. Я бы хотел взглянуть утром — в полшестого уже светло, а ты все еще храпишь, — что принесла нам нового мировая история взамен твоих глаз и моих ног. И вот, когда с пением бородача и потасовкой у Корбмахеров наступило утро и я раскрыл газету, то тут же прочел сообщение. Здесь, прямо на первой странице, большими буквами! Эй, Антон, просыпайся!

Антон. Что такое?

Страницкий. Сенсация, Антон. Шанс!

Антон. Какая сенсация? Что за шанс? Сенсации у меня бывают теперь только во сне! Там я плаваю на глубине в пятьдесят футов в своем водолазном костюме — том самом, которому пришла крышка, когда «Глория» взлетела

на воздух, а вместе с ней полетели в небесную синеву и мои небесно-голубые глаза. Я как раз висел на каких-то обломках, прибитых волнами к коралловому рифу, окруженный каракатицами с метровыми извивающимися щупальцами,— и тут-то ты влез со своим дурацким «эй, Антон, просыпайся!» Вот это и был шанс, Страницкий,— золото, сиявшее мне, пока я спал, из развалившихся сундуков среди морских звезд и медуз.

Страницкий. Ты просыпаешься, а золото-то тью-тью? Плевать мне на твои сны! Я могу предложить тебе реальный шанс, который составит наше счастье, а заодно и счастье всего мира. Слышишь траурный марш?

Слышен траурный марш Шопена.

Антон. А, понимаю! Это играют по радио всегда, когда умирает кто-нибудь важный.

Страницкий. Нет, случилось событие куда более значительное. Меве заболел проказой.

Антон. Меве?

Страницкий. Наш Национальный герой.

Антон. Как же это он умудрился подцепить проказу в наших краях?

Страницкий. Он же ездил в Абиссинию, где должен был продемонстрировать свое сочувствие положению бедняков. Но перестарался — зашел в какую-то хижину, по обычаю этой страны босиком, и заразился.

Антон. Где же она у него?

Страницкий. На большом пальце левой ноги.

Антон. А при чем здесь наш шанс?

Страницкий. Идея, Антон, совсем простая: все беды происходят оттого, что нам, инвалидам, затыкают рот.

Антон. Я и не хочу ничего говорить.

Страницкий. Потому что ты сразу засыпаешь и тебе снятся твои каракатицы. А я, Антон, сплю плохо, я деятельный человек, лежу и размышляю о нашем ничтожестве. В том-то и дело, что мы ничто. Нас не слушают — и это причина всех бед. Но теперь все не так. Теперь с нами Меве. У него проказа, а мы инвалиды. Теперь он нас поймет. Пойдем

к Меве. В газете написано, что он лежит в Вифлеемской клинике.

Антон. И что мы там будем делать?

Страницкий. Меве и мы должны образовать правительство.

Антон. Правительство?

Страницкий. Мы будем министрами.

Антон. Министрами?

Страницкий. А чем же еще! Я был футболистом, а ты водолазом. Но разве могу я играть в футбол без ног, а ты нырять, когда у тебя нет глаз? Пусть теперь этим займутся здоровые. А чтоб управлять, не так уж нужны здоровые члены.

Антон (*смеется*). Национальный герой, бесспорно, тебя поймет.

Страницкий. Проказа открыла ему глаза на наше положение. Такая болезнь просветляет.

Антон (*осторожно*). И когда ты собираешься пойти к нему?

Страницкий. Сегодня же.

Антон. Чепуха, Страницкий, какая чепуха! Одна из твоих идиотских выдумок.

Страницкий. Теперь наконец наверху должны оказаться те, кто испытал мировую историю на собственной шкуре. А это как раз мы!

Антон. Но ведь мы же совсем не умеем править!

Страницкий. Что значит — мы, Антон? Главное, я умею. Ты думаешь, что я делал ночами, пока ты храпел? Я набрасывал программу правительства, проводил социальные реформы, ты еще удивишься какие, произносил речи, а когда под утро я засыпал, то снились мне, в отличие от тебя, не какие-нибудь бесполезные пустяки. Мне снились практические сны. Я разъезжал по конференциям. Дай мне только попробовать. Я знаю, как нужно использовать шанс. Когда я забил три гола испанцам...

Женский голос. Господин Страницкий, господин Антон!

Страницкий. Господин Страницкий! Господин Антон! Слышишь? Это фройляйн Мария из девятнадцатой комнаты.

Мария. Доброе утро, господин Страницкий. Доброе утро, господин Антон.

Страницкий. Доброе утро, фройляйн Мария. Мы долго не виделись. Комната номер девятнадцать пустовала целых три недели.

Мария. Я, господин Страницкий, потеряла место на парфюмерной фабрике и была у сестры. А теперь я устроилась работать в трикотажном концерне «Диана и К°» и вот снова здесь.

Страницкий. Это мне не нравится. Трикотажный концерн не для вас, фройляйн Мария.

Мария. Я буду мести лестницы и цеха, господин Страницкий. Тридцать пфеннигов в час...

Страницкий. Цеха и лестницы за тридцать пфеннигов! Фройляйн Мария, конечно, я нищий, безногий, которого возит по городу слепой, сижу у пострадавших от обстрела стен собора святого Себастьяна и сую людям под нос жестяную тарелку. Все это, конечно, так. Но если бы вы закрыли глаза и хоть разок представили себе меня, фройляйн Мария, с обеими ногами да еще в черно-красной футболке команды «Патриа», вы бы должны были признаться, что я был парнем что надо.

Мария (смущенно). Господин Страницкий!

Страницкий. Таким парнем, который показал бы директору трикотажного концерна, как заставлять симпатичную девушку вроде вас мыть полы.

Мария (робко). Господин Страницкий!

Страницкий. Вы покраснели, фройляйн Мария. Ну что ж, понимаю: такую девушку, как вы, смущает, конечно, что безногий объясняется ей в любви. Но это объяснение на тот случай, если бы я был при своих ногах, чтобы показать вам, каков бы я был, если бы они не валялись в песках Сахары под каким-то холмом.

Мария (горячо). Но ведь вы можете, господин Страницкий, получить ноги от государства, так сказал мне господин из социального обеспечения.

Страницкий. Знаю я этого господина! Он приходил ко мне

со своими прописями, фройляйн Мария. Прекрасно, сказал я, государство вернет мне мои ноги. С его стороны весьма благородно. Хорошая сделка. А что это за ноги? Превосходные протезы, сказал он. А смогу ли я играть на них в футбол? Он ответил мне, что на этих протезах люди одолевали горы. Я не альпинист, сказал я, я футболист. Смогу ли я с ними снова играть левым полузащитником в первом составе команды «Патриа»? Господин Страницкий, ответил тот человек из социального обеспечения, это невыполнимое требование. Тогда мне не нужно ног, сказал я. Я зарабатывал своими ногами, такая у меня была работа, и новые ноги должны помочь мне снова зарабатывать. Государство обязано предоставить мне ноги, равноценные тем, которые оно у меня отняло, и баста. Или я останусь тем, что я есть,— живым напоминанием о надругательстве, совершенном надо мной государством.

Мария (плача). Но ведь вы мне нравитесь, господин Страницкий!

Страницкий. Не плакать, фройляйн, не плакать. Кто знает, что нас ждет, кто знает, что у Страницкого на уме и чего он еще может добиться, если выпадет случай, великий неповторимый случай! Зря, что ли, я забил четыре гола испанцам! И этот случай подвернулся. Не только для меня, но и для вас, и для длинного Антона. Марихен, Марихен, Марихен, разве вы не слышите торжественной траурной музыки, которую целое утро разносит радио из окна Флейше-ров? А речь, которую произнес министр внутренних дел?

Министр внутренних дел. ...коварна, но наш Национальный герой может быть уверен, что в этом тяжком испытании с ним любовь и почитание всей нации. Мы будем верны герою Финстервальда и Сан-Плинплина, даже если он про-каженный — произнесем же однажды это страшное, убий-ственное слово. Именно в этот час мы клянемся...

Диктор. Но предоставим министру внутренних дел про-должать свою привлекшую всеобщее внимание и не раз по-вторявшуюся в течение дня по радио речь, оставим также и инвалида Станиславского...

Страницкий (*скромно*). Страницкого.

Диктор. Страницкого с его безумными надеждами, Марией и слепым водолазом Антоном в чердачной комнате номер четырнадцать и обратимся к общественности. Хотя Национальный герой со временем и несколько вышел из моды, хотя над ним у нас втайне посмеивались, как над музейным экспонатом, еще игравшим в качестве главы государства декоративную роль при открытии памятников и государственных визитах, но уже не принимавшимся всерьез, болезнь целиком и полностью восстановила его потускневшую славу: никогда еще Меве не был так популярен, как теперь. Его поясной портрет с косою улыбкой, как у Кларка Гейбла, но в целом больше напоминающий Гёте,— его поясной портрет сразу появился на всех стенах и в каждой комнате. Газеты пестрели посвященными ему сообщениями. Собирались конгрессы врачей. Забастовки с требованием повышения заработной платы были отменены под предлогом, что материальные разногласия неуместны перед лицом болезни Национального героя. Организовывались комитеты, по улицам шествовали дети, скандировавшие хором, общество Меве торговало значками с надписью: «Не дадим Меве сгнить заживо!». Был основан фонд Меве. Короче, возбуждение по поводу редкой в наших местах и потому занимавшей фантазию болезни было велико, и поэтому неудивительно, что на обоих инвалидов обращали еще меньше внимания, чем обычно. Ни одна монетка не упала в их помятую жестяную тарелку, пока они, полные надежд, совершали свой путь по раскаленным от солнца нескончаемым асфальтовым пустошам нашей столицы, направляясь к Вифлеемской клинике, где лежал Национальный герой: слепой толкал тележку безногого, безногий направлял шаги слепого.

Разносчик газет. Дневной выпуск: заболевание нашего Национального героя — абиссинская форма лепры, «Ди Цайт!» «Ди Цайт!» Интервью со специалистом по лепре Модерцаном!

Страницкий.

Случалось забивать мне
По дюжине голов.
Был знаменит тогда я,
И счастлив и здоров.

Куда б я ни явился,
Я был героем дня.
И было много женщин
И денег у меня.

Но вскоре разразилась
Игра больших господ.
Голы их роковые
Оплачивал народ.

Сдирали с нас нещадно
Губительный оброк.
И вы детей лишились,
А я лишился ног *.

Продавец. Памятные значки общества Меве! Покупайте
значки общества Меве!

Страницкий. Сверни направо, Антон! Направо! К собору
святого Себастьяна!

Антон.

Мне плавать приходилось
По дюжине морей.
Кораллы повисали
На бороде моей.

В галерах затонувших
Я золото искал.
В костюме водолазном
Я в трюмах их бывал.

Но вот нас искупали
По милости господ.

* Здесь и далее в пьесе перевод стихов К. Богатырева.

И океаны крови
Оплачивал народ.

Сдирали непосильный
Оброк нещадно с нас,
И вы детей лишились,
А я лишился глаз.

Страницкий. Налево, Антон, мимо газового завода!

Антон. Пусто. Ни одного пфеннига. Никто ничего не дает.

Страницкий. На эти деньги, Антон, целый день покупают значки в честь Меве, с чего ж тут тебе отчаиваться!

Выкрики. Фонд Меве, жертвуйте в фонд Меве!

Антон. Есть хочется.

Страницкий. Есть? Сейчас?! Ты что, больной вроде Меве?

Разносчик газет. «Эпоха»! Организация Объединенных Наций выражает сочувствие!

Антон. Странно. Еще вчера газетчики кричали все больше об экономическом кризисе, а сегодня что ни слово, то Меве.

Страницкий. Тебе этого не понять, Антон. Один разносчик одолжил мне иллюстрированный журнал, так там воспроизведен большой палец нашего героя, тот самый, прокаженный. Что экономический кризис, когда у кого-нибудь растет такое.

Антон. И это помещено в иллюстрированном журнале?

Страницкий. Цветное фото. А ты бы посмотрел на выражение лица нашего Национального героя — какое самообладание!

Антон. А на чем он лежит, на матрасе?

Страницкий. На матрасе? При такой болезни? Он сидит в американском медицинском кресле, которому можно придать любое положение, у каждого подлокотника столик, над головой лампа, предусмотрен телефон и электромотор, чтобы ездить по саду. Ты бы посмотрел, Антон, на это кресло.

Антон. А как выглядят медицинские сестры?

Страницкий. Не девочки, а мечта! Сложены что надо. Но к тому же это, как говорят, почетные медсестры.

Одна танцовщица, другая герцогиня фон Тойфелен. А у него таких сестер десять! И при этом как держатся! Прямо, Антон, теперь все время прямо.

Антон (*горько*). Боже мой, Страницкий, если б я был про-каженным и к тому же Национальным героем! А тебе было бы так кстати американское кресло с электромотором.

Страницкий (*возмущенно*). Антон! Не грехи! Такая болезнь! Мы можем считать себя счастливыми, что потеряли лишь ноги и глаза. Но нам пора петь, Антон, и протягивать тарелку. Вон идет жирный пивовар Бундхофер. Пой, Антон, Пой!

Антон.

Бывать мне приходилось
На океанском дне.
А надо мною солнце
Мерцало в вышине.

В галерах затонувших
Я золото искал.
В костюме водолазном
В их трюмах побывал.

Ничего! Снова ничего! Пивовар вынул деньги, только чтобы купить значок!

Диктор. Ничего. Снова ничего. Раскошеливались только на значки в честь Меве, и, когда к вечеру оба инвалида добрались до Вифлеемской клиники, у них по-прежнему ничего не было и они были голодны. Перед клиникой стоял полицейский, державший любопытных в отдалении. Национальному герою был нужен покой.

Полицейский. Проходите. Не задерживайтесь.

Страницкий. Так. Перед нами Вифлеемская клиника. В этом самом парке. И милейший полицейский у входа. Молодчина полицейский в белом шлеме и с коричневой щеточкой усов под носом. Белые перчатки тоже при нем. Мне он нравится, Антон: когда буду в правительстве, дам ему лейтенанта, у меня слабость к полицейским.

Полицейский. Проходите. Проходите.

Страницкий. Я знаю, что делать. У меня опыт обращения с полицией. Не зря я стал почетным членом полицейского спортивного общества, когда забил пять голов испанцам.

Полицейский. Проходите.

Страницкий. Господин полицейский, Вифлеемская клиника здесь, не правда ли?

Полицейский. Проходите. Национальному герою нужен покой. Проходите.

Страницкий. Правильно. Долг прежде всего! Это мне ясно. Так и должно быть в здоровом государстве. Вас удивляют, господин полицейский, мои слова? Понимаю вас. Мы пока оборванцы, мой друг Антон производит, должно быть, особенно дикое впечатление. Но скоро мы образуем правительство. Мы, собственно, друзья Меве и хотим его навестить. Я представлю вас в лейтенанты, господин полицейский.

Полицейский. Проходите.

Страницкий (с достоинством). Господин полицейский, обращаю ваше внимание на то, что ваше обхождение с будущим министром не настраивает меня на присвоение вам лейтенантского звания. Теперь я мог бы сделать вас разве что вахмистром, но и то, если вы будете более вежливы. Вы почти что прохлопали ваш шанс.

Полицейский. Проходите.

Страницкий. Он не хочет. Несмотря на повышение. Но у нас ведь есть еще и твои кулаки, Антон, твои два метра десять! Вдарь-ка его попросту. И мы уж как-нибудь пробьемся вместе с моей тележкой к нашему Национальному герою. Ну давай, Антон, не спи!

Слепой моряк на тачке

Привез меня сюда.

Верните долг калеке,

Большие господа.

Скорей, Антон, скорей! Вперед, все время вперед. Дорожка прямая, как шнур, и вон уже сквозь деревья и цветы парка светятся белые стены клиники.

Диктор. Все случилось так, как и должно было случиться. Слепой, изодранный и огромный, пронесся по парку, толкая перед собой тележку безногого, испускавшего крики нетерпения. Оба олицетворяли жалкое и безнадежное усилие добраться до рая на земле — до этой самой Вифлеемской клиники, мягко светившейся между стволами, а со всех сторон спешили полицейские, смущенные странным видом обоих и охваченные вполне понятным испугом перед лицом столь явного посягательства на Национального героя.

Голоса. Стой! Держи их!

Энергичные свистки.

Страницкий. Беги, беги, Антон! Все время прямо, прямо!

Диктор. Сцена была мучительная. Как репейники, повисли на великане полицейские в сине-красных мундирах; они и не подозревали, что тот слеп; один из полицейских вскочил ему на спину, так что в конце концов побежденный толпой инвалид со стоном упал, а безногий Страницкий продолжал путь в своей потерявшей управление тележке, пока не угодил в одну из канав парка и не перевернулся.

Голос (издали). Покупайте значки Меве, значки Меве!

Страницкий. И вот я лежу, безногий, в канаве, заросшей травой и цветами, полной жуков и кузнечиков. Плохо твое дело, Страницкий, а ведь все это чистейшее недоразумение. И придется же побледнеть полицейским, когда они узнают, как обращались с будущим министром. Лица их будут белы, как маргаритки, среди которых я лежу, потому что, клянусь, я буду именно министром полиции. Министром полиции — мои реформы еще удивят мир! Министр полиции! Вот только бы унялась кровь из носа, проклятая кровь из носа, даже бабочка, подлетевшая к моему лицу, стала красной!

Голос (издали). Покупайте значки Меве! Значки Меве!

Диктор. Но после того как обоих привели в полицейский участок и допросили, правда ничего не уяснив из их ответов, так что в конце концов их отпустили, еще и накормив при этом наваристым супом с краюхой хлеба,— после всего это-

го свершилось великое чудо. Й. Т. Вайтблейк, журналист, а в прошлом поэт, проникся сочувствием к этой паре. В тот самый день после полудня Доннер, главный редактор «Эпохи» — кто не читает эту газету! — рывкнул на Вайтблейка таким громовым голосом, который — просим простить намек *, но он напрашивается сам собой — мы должны при всем нашем уважении назвать несколько слишком сильным.

Главный редактор Доннер. Мне нужна сенсация, сенсация во что бы то ни стало, или мы можем закрыть лавочку и торговать подтяжками! Что-нибудь осязаемое, что-нибудь, что могло бы заставить дражайшую публику реветь и скрежетать зубами. Черт побери, это треклятое газетное дело! К чему нам такой великолепный прокаженный Национальный герой, как не затем, чтобы люди думали о нем, а не забивали себе головы стачками, коммунизмом и подобной никому не нужной чепухой. Будь вы и десять раз Гёте, мой милый, все равно вы заслужили, чтобы вас окунули в чан с черной типографской краской. Иллюстрированный журнал первым поместил снимок прокаженного пальца, нам же остается только повторять его, когда уже ни одна собака не интересуется костями. «Цайт» опубликовал первое интервью, первое — а нам что, его перепечатывать? А вот «Вохе» выступает с серией статей «Я стражду» — автор сам Меве. Тираж четыре миллиона. Нет-нет, нам пора в архив, я теперь тоже начну писать стихи. А вы, Вайтблейк, что же вы принесли и осмеливаетесь класть мне на стол? Болезнь Балдура фон Меве и ее значение для современной духовной жизни. Вон!

Диктор. Такой была речь Доннера, главного редактора «Эпохи». Вы смогли убедиться сами — как это было впечатляюще! Смертельно бледный Вайтблейк бросился прочь из редакции. Внутренне он уже был готов к увольнению, уже собирался разорвать помолвку с Молли Уолли — вы ведь знаете эту прелестную субретку, выступавшую на подмостках многих городов, — как вдруг натолкнулся во

* Непереводимая игра слов: доннер — гром (нем.).

время своего ежедневного посещения полицейских участков на историю обоих инвалидов, этот запутанный сюжетик, разыгравшийся в саду Вифлеемской клиники, и случилось то самое чудо, о котором мы упоминали: Й. П. Вайтблейка осенила идея. Сам главный редактор Доннер был очарован, когда услышал о ней.

Главный редактор Доннер (*приветливо*). Ну вот видите, Вайтблейчик, какая идея выпорхнула из вашей головки. Я сразу подумал: если поэтишка постареется, со временем он что-нибудь да выжмет из высушенного лимона. Ну-ка пустим в ход наши связи. Завтра же вы будете стоять перед вашим Меве и излагать больному свои соображения.

Диктор. И действительно, на следующий день Й. П. Вайтблейк стоял в Вифлеемской клинике перед Национальным героем — американское кресло, в котором сидел Бальдур фон Меве, я вам, пожалуй, могу уже не описывать. Из медицинских сестер его окружали три, среди них герцогиня фон Тойфелен. Из врачей присутствовал Модерцан. Национальный герой пил томатный сок. В его голосе звучала сдержанная боль, соответствовавшая всему его облику, как будто уже нездешнему, принадлежавшему тому миру, которого мы не знаем.

Национальный герой (*устало*). Молодой человек, я стражду. Меня посетила госпожа Забота, так прекрасно описанная Гёте во второй части «Фауста», которого я читал еще в Финстервальде, а сейчас читаю в двенадцатый раз.

Вайтблейк. Ваше превосходительство! (*Он почти умирает от почтения.*)

Национальный герой (*устало*). Я боролся, я выстоял при Сан-Плинплине, был весь обращен к моему народу, к этой жизни, но теперь, молодой человек, теперь грядет другое, невыразимое.

Вайтблейк. Невыразимое.

Национальный герой (*устало*). Еще немножко грейпфрутового сока, герцогиня фон Тойфелен, а на полдник прошу приготовить холодную пулярку и Château neuf du Pape, хорошо?

Вайтблейк. Ваше превосходительство, все мы глубоко потрясены болезнью вашей правой ноги...

Национальный герой (*сердито*). У меня болит левая, черт побери, левая нога, большой палец левой ноги.

Вайтблейк. Простите, ваше превосходительство. (*Он очень смущен.*) Левая, конечно, левая нога вашего превосходительства. (*Собирается с духом.*) Все мы глубоко потрясены болезнью вашей левой ноги. Сверху донизу. Весь народ потрясен и един в этом, как никогда. Болезнь вашего превосходительства имеет политическое значение. Это значение нужно упрочить. Чем больше участия примет народ в страданиях вашего превосходительства, тем лучше.

Национальный герой. С началом моей болезни коммунистической партии пришлось поужаться, молодой человек.

Вайтблейк. И немало.

Национальный герой. Никаких стачек, никаких требований повысить зарплату.

Вайтблейк. Поразительно!

Национальный герой. Меня интервьюировали.

Вайтблейк. И это произвело небывалый эффект.

Национальный герой. Фотографировали прокаженный палец.

Вайтблейк. Это заставило нас содрогнуться.

Национальный герой. Меня показали в кругу моей озабоченной семьи.

Вайтблейк. Мы разделяли ее озабоченность.

Национальный герой. В окружении плачущих школьников.

Вайтблейк. Мы все плакали.

Национальный герой. Я собираюсь написать книгу «Я стражду».

Вайтблейк. Мы страждем вместе с вами.

Национальный герой. Чего же вы хотите еще от смертельно больного? Все в порядке.

Вайтблейк. Конечно, успехи значительные, ваше превосходительство, в этом нет никакого сомнения. Недостаёт лишь одного документа, который зафиксировал бы весьма существенный момент — любовь и почитание со стороны ма-

лых мира сего. Тут-то и необходимо ваше содействие. Изволите вы, ваше превосходительство, принимать кого-либо в клинике?

Национальный герой. Принимать? Но ведь вчера только, кажется, я принял делегацию женского союза?

Вайтблейк. Несомненно.

Национальный герой. И конгресса филологов.

Вайтблейк. Да, действительно.

Национальный герой. Сегодня — железнодорожников и банковских служащих.

Вайтблейк. Совершенно верно.

Национальный герой. Завтра — масонов.

Вайтблейк. Само собой разумеется.

Национальный герой. Епископата и филателистов.

Вайтблейк. Конечно, все это имеет политический вес, кто может в этом усомниться? Но теперь речь пойдет, ваше превосходительство, о более значительном и глубоком. (*С теплотой в голосе.*) Не соизволите ли вы, ваше превосходительство, принять двух инвалидов? Слепого и безногого.

Национальный герой (*удивленно*). Двух инвалидов?

Вайтблейк. Двух изувеченных защитников родины, которые желают выразить вам свое сочувствие. Ваше превосходительство, принесите еще и эту жертву. Общественность была бы восхищена этой встречей.

Диктор. Вот в чем состояла вайтблейковская идея. Лицо Национального героя вновь просветлело. Туча, которую нагнала была ошибка Й. П. Вайтблейка, спутавшего его правую ногу с левой, рассеялась, и после некоторого колебания Бальдур фон Меве заявил о своем согласии. Как «Эпоха», так и присоединившееся к ней радио ждали очень многого от предстоящей трогательной сцены. Все были убеждены, что это даст новый толчок начавшему уже было сникать движению в поддержку Меве. К тому же на конференции врачей не было единодушного мнения по поводу проказы у Национального героя, раздавались даже голоса, выразившие сомнение в диагнозе, — но не будем больше говорить об этом. Кто настроен истинно патриотически, тот убежден

в прокаженности Меве. Это ясно. Теперь задачей Вайтблейка было найти обоих инвалидов. И журналист пустился в путь. Рабочие кварталы вблизи парфюмерной фабрики Губера. Улица Моцарта, дом номер четыреста двадцать семь, пятый этаж, комната номер четырнадцать, под самой крышей. Перед подъездом проржавевшая тележка безногого. Внизу на лестнице пахнет фасолью с салом, повыше кислой капустой, дальше побеждает селедка. Детский крик.

Детский крик.

Подвыпивший господин с окладистой бородой, чей род занятий никому не известен.

Господин с окладистой бородой (*во все горло*).

Луиза очень хороша,

Ох, хороша — и ша!

Диктор. Потом фройляйн Мюллер, Луиза Мюллер, чей род занятий, напротив, всем известен. И не одна, но умолчим об этой сцене. В разбитое окно светит весеннее солнце. По радио на четвертом этаже передают «Смерть и девушка» Шуберта.

Звучит «Смерть и девушка» Шуберта.

Одновременно происходит ссора в семье Корбмахеров, обычная в это время.

Корбмахер. Крыса! Потаскуха!

Диктор. Потом комната номер четырнадцать, помещение нам уже известное: на одном матрасе лежит слепой водолаз Антон, на другом — безногий футболист Страницкий, в углу стоит шаткий столик, немного посуды, кружка с водой.

Вайтблейк. Мое имя Вайтблейк. Й. П. Вайтблейк. Я из газеты. А вы, без сомнения, господин Страницкий?

Страницкий. Страницкий. Адольф Иосиф Страницкий, известный футболист, тот самый, знаете, который забил решающий гол в ворота испанцев. А это мой друг Антон, бывший водолаз.

Вайтблейк. Вчера вечером у Вифлеемской клиники вы, господин Страницкий, высказали желание посетить нашего

любимого Национального героя Бальдура фон Меве, чтобы выразить ему свое уважение.

Страницкий (*с достоинством*). Чтобы выразить ему мое полнейшее уважение.

Вайтблейк. К сожалению, полиция помешала вам...

Страницкий (*с достоинством*). Недопонимание.

Вайтблейк. Вот именно. Бальдур фон Меве готов принять вас и вашего слепого товарища послезавтра.

Страницкий (*пораженно*). Бог мой!

Вайтблейк. В десять часов утра.

Страницкий (*растерянно*). В десять часов утра.

Вайтблейк. Ваша беседа прозвучит по радио в передаче «Эхо времени» и будет опубликована на первой странице «Эпохи». С фотоснимками.

Страницкий (*глухо*). По радио и в «Эпохе». С фотоснимками.

Вайтблейк. Послезавтра в половине десятого я заеду за вами сюда на улицу Моцарта на «бьюике» главного редактора Доннера, господина.

Страницкий (*оцепенело*). На «бьюике».

Вайтблейк. Это мне поручено передать вам, господина, от имени Бальдура фон Меве. Увидимся послезавтра, в этот великий день вашей жизни.

Страницкий (*все еще оцепенело*). Послезавтра великий день нашей жизни. На «бьюике».

Диктор. Таков был визит, нанесенный Вайтблейком обоим инвалидам, визит, который при несоразмерности надежд, возлагавшихся Страницким...

Страницкий (*скромно*). Страницким.

Диктор. ...Страницким на Меве, мог иметь только роковые последствия. Вы увидите это сами. Оба инвалида — бывший водолаз и бывший футболист — сидели в своей жалкой камере, освещенные лучами огромного красного солнца, как раз собиравшегося опуститься за корпуса трикотажного концерна, и молчали. Случилось чудо, они сознавали только это и судорожно сжимали руки перед таким великим негаданным счастьем.

Стучат.

Мария. Господин Страницкий! Господин Антон!

Страницкий. Мария! Входите, фройляйн Мария.

Мария. Вы бледны как смерть, господин Страницкий, а Антон все время качает головой.

Страницкий. Он все еще не может ничего понять, фройляйн Мария, потому что послезавтра в десять утра мы приглашены посетить Бальдура фон Меве. На «бьюике».

Мария (*робко*). Господин Страницкий.

Страницкий. Я всегда предчувствовал, что случится что-нибудь из ряда вон выходящее. Еще вчера, когда нам дали в участке хлеба и супа, я подумал: они, наверно, догадываются, что с нами дело не так просто, и вот вдруг нас приглашают в Вифлеемскую клинику. Теперь я поговорю с Меве и стану министром полиции, фройляйн Мария, так я решил, когда лежал в канаве.

Мария. Но, господин Страницкий...

Страницкий. Больше я для вас не господин Страницкий. Называйте меня Адольф Иосиф. Потому что вы — моя невеста.

Мария (*робко*). Адольф Иосиф.

Страницкий. Теперь я закажу себе ноги, не государственные, а в частной мастерской, такие же великолепные, как кресло, на котором сидит Меве. И радио будет вмонтировано чуть выше левого колена, а на подошвах маленькие выдвижные колесики с моторчиком, чтобы просто катить, когда нет охоты идти.

Мария. Страницкий...

Страницкий. А вас, Мария, будут называть госпожой министершей.

Мария. Но я вовсе не хочу этого, Страницкий, мне это совсем не нужно, и Антон не хочет, он не говорит ни слова и качает головой. Только б ты был у меня, а ноги сделаем государственные. Ты же еще совсем не знаешь, что Меве от тебя хочет, а разве из нас кто-нибудь разбирается в национальных героях! Адольф Иосиф, я буду работать, обещаю тебе, на тебя и на Антона, и я буду твоей

женой, меня ведь совсем не смущает, что у тебя нет ног.

Страницкий. О работе не может быть и речи. С трико-
тажным концерном покончено. Ты будешь госпожой мини-
стершей, и все тут. А у Антона будут такие же красивые
медицинские сестры, как у Меве, включая и герцогиню
Тойфелен. У меня тоже есть своя гордость.

Голоса. Страницкий! Да здравствует Страницкий!

Страницкий. Это господин Корбмахер снизу и господин
Флейшер с третьего этажа, бородач и фройляйн Луиза.

Корбмахер. Страницкий, господин из газеты сказал мо-
ей жене, что вы приглашены к Меве. Весь дом уже знает об
этом! Поздравляю!

Флейшер. Надеюсь, что вы скажете Национальному ге-
рою, как живется нам, маленьким людям? Это теперь ваша
прямая обязанность, дружище!

Корбмахер. И как плохо платят на парфюмерной фабрике!

Фройляйн Луиза. И как плохо платят благородные гос-
пода!

Господин с окладистой бородой. Как подорожала водка!

Страницкий. Я скажу Меве все. Моя речь будет переда-
ваться по радио, можете послушать! Люди! Жители улицы
Моцарта! Настал великий патриотический миг! Болезнь вра-
зумила нашего Национального героя, героя Финстервальда
и Сан-Плинплина, он понял, что те, кто наверху, и те, кто
внизу, богатые и бедные должны объединить свои усилия.
Поэтому он и позвал к себе меня, инвалида Страницкого,
чтобы посоветоваться со мной.

Все. Слушайте! Слушайте!

Страницкий. Предстоят важные преобразования.

Все. Браво.

Страницкий. Давайте поэтому встретим грядущие дни
радостно.

Господин с окладистой бородой. Выпьем сливянки!

Корбмахер. Бургундского!

Флейшер. Будем есть курицу!

Фройляйн Луиза. Торты!

Страницкий. Я плачу за все!

Мария (*боязливо*). Страницкий! Мой Страницкий! Только бы все хорошо кончилось!

Диктор. И вот настал долгожданный день. Футболист достойно подготовился. Исчезли дырявые матрасы, мы ведь их помним, шаткий столик, старая кружка. Вместо этого появились два дивана, купленные в кредит, мягкое кресло — в кредит, стол в стиле конца века и радио — тоже в кредит, уж не говоря о вине, фруктах и всем прочем, что было заготовлено к празднику, — тоже, разумеется, в кредит. Ровно в половине десятого появился Вайтблейк на «бьюике». Собралась почти вся улица Моцарта. С криками «ура» погрузили безногого в машину. На нем была старая солдатская форма.

Толпа. Ура, ура Страницкому!

Диктор. Рядом с ним в синем морском мундире сидел слепой. И они ехали по улицам нашей столицы, мимо собора святого Себастьяна. Обрамленные черным огромные портреты Национального героя со всех сторон строго взирали на «бьюик», на перекрестках бойко раскупалось «Я стражду» Меве. Колоссальное дело. «Лайф» предложил за право перевода два миллиона долларов. Без пяти десять машина завернула в парк при Вифлеемской клинике. Главный врач Модерцан поджидал их у входа в госпиталь. Безногого посадили на коляску, и водолаз покатил ее впереди себя. Герцогиня фон Тойфелен, показывавшая инвалидам дорогу, плакала. Процессия достигла большого холла. На камине в дорогих рамках стояли портреты Елизаветы, ее величества королевы Англии, с наследником на коленях и американского президента, а между ними золотой крест, подаренный нунцием, с надписью: «Страдай за нас». Национальный герой сидел в американском кресле. Увидев двух инвалидов, он отложил в сторону «Фауста» и улыбнулся, хотя и несколько более болезненно, чем всегда, своей знаменитой кривой улыбкой. У его ног сражались два молодых льва, подарок безутешного императора Абиссинии. На заднем плане стояли почетные медицинские сестры, врачи и ассистенты, а также некоторые члены кабинета.

Царила тишина, торжественная тишина. Почти бесшумно работали кинооператоры, фотографы и звукооператоры. И вот Й. П. Вайтблейк заговорил.

Вайтблейк. Ваше превосходительство, я имею честь представить вам двух простых людей из народа. Господин Страницкий.

Страницкий. Страницкий. Адольф Иосиф Страницкий.

Вайтблейк. Страницкий и господин Антон.

Национальный герой. Два защитника родины. Я рад. Были под Финстервальдом? Где ранены, в Сан-Плинплине?

Страницкий. В Узбекистане, господин Меве, а Антон в устье Иравади.

Приглушенный смех.

Вайтблейк (шепотом). «Ваше превосходительство», Страницкий, «ваше превосходительство». Национальному герою нужно говорить «ваше превосходительство».

Национальный герой. Но, молодой друг, зачем же этому честному человеку называть меня «ваше превосходительство»? Мы ведь товарищи.

Все. Bravo! Да здравствует наш Национальный герой!
Голос сзади. Какая человечность!

Приглушенные аплодисменты.

Национальный герой. Защитники нашей родины потеряли глаза и ноги, а у меня проказа. В конечном итоге всем нам приходится страдать.

Приглушенные аплодисменты.

Для нас троих это значит: держать выше голову и, сжав зубы, исполнять свой долг перед отечеством.

Страницкий. Господин Меве, вы говорили от всей души. Поэтому давайте перейдем к истинной цели нашей встречи.

Вайтблейк (в замешательстве). Но, милейший...

Страницкий. Господин Национальный герой. Мы сидим друг против друга в специальных больничных креслах — вы, знаменитый герой Сан-Плинплина и Финстервальда, премьер-министр нашей страны, прокаженный до самых костей, и я, бывший футболист, бесполезный обрубок.

Вайтблейк. Но, милый...

Страницкий. Таковы факты, и тут ничего не изменишь. Но, господин Национальный герой, мы смотрим фактам в глаза, это нужно сразу отметить, ибо вы позвали меня, а я откликнулся на ваш зов. Теперь вы с нами, с тысячами живущих в нашей стране безруких, безногих или слепых. С гордостью принимаем мы вас в наши необозримые ряды.

Вайтблейк. Но, мой...

Страницкий. Господин Национальный герой! В эту незабываемую минуту на нас смотрит народ. В истории наступил поворотный момент. За вашей спиной власть, учреждения, пресса, армия, за моей — бессилие, бедность, голод. Ваше имя на устах у всех, мое имя забыто. И все же мы не противостоим друг другу, мы существуем один для другого.

Вайтблейк. Но...

Страницкий. Никто не вернет вам обратно ваш палец, никто не вернет мне моих ног. Забудем же об этих частях нашего тела, ну их, и пустим в ход головы. В них теперь нуждается наш народ. Мы не можем избавиться от наших страданий, но можем устранить их причину. В Абиссинии вы посетили бедную хижину. В нашей стране тоже есть такие. Давайте позаботимся о том, чтобы их не было больше нигде. Меня изуродовала война. Так пусть не будет больше войн. Мы оба зависим от помощи наших сограждан. Такая же помощь должна быть оказана всем нуждающимся. Фонд Меве для всех, господин Национальный герой. Того, чего не добились поколения здоровых людей: спортсменов, вегетарианцев и трезвенников, — мира на земле, должны добиться мы — хворые, калеки, изрубленные!

Вайтблейк. Но, мой...

Страницкий. Вместе мы образуем правительство, господин Национальный герой. Это дело безотлагательное, я знаю. Себя я предлагаю в ваше распоряжение в качестве министра полиции. Я охотно приношу эту жертву. Я готов одновременно принять на себя обязанности и министра внутренних дел. А также и внешних, если вы того пожелаете. Антон возглавит финансы и церковь. Никогда еще ни

одно правительство, господин Национальный герой, не формировалось в столь благоприятных условиях.

Вайтблейк. Но, мой мил...

Страницкий. Вы тронуты, господин Национальный герой. Из этого я заключаю, что вы — согласны. Я вижу это по вашему лицу, по тому, как беспокоится вы двигаетесь в своем американском кресле. Но терпение. Завтра мы увидимся снова. Сегодняшний день, господин Национальный герой, я хочу провести со своими друзьями, простыми людьми с улицы Моцарта.

Вайтблейк. Но, мой милейший!

Национальный герой (*смущенно*). Был рад. Желая такому храброму солдату нашей родины всего лучшего.

Страницкий. Завтра, господин Национальный герой, я предложу вам свою программу правительства и прошу вас, чтобы меня и Антона привел к присяге архиепископ в соборе святого Себастьяна, как того требует наша старая, достойная уважения традиция.

Вайтблейк. Но, мой милейший...

Национальный герой (*слабо*). Рад. Был рад. Еще Гёте... Чрезвычайно рад. Портреты, герцогиня фон Тойфелен, портреты, хорошо?

Диктор. Так проходила встреча безногого футболиста и нашего Национального героя. Печальный конец рассказать недолго. Едва герцогиня фон Тойфелен вручила обоим по портрету Меве с собственноручными его подписями — как обоих уже вывели от измученного Меве, которого Модерцан уложил в постель. На одном портрете Национальный герой страдал под Финстервальдом, а на другом не сдавался под Сан-Плинплином. Футболист торжествовал. Настороженного молчания окружающих он не заметил. Он уже видел себя министром. Улица Моцарта, куда его и Антона доставил «бьюик», встретила их с восторгом. На чердаке началось безумное пиршество, продолжавшееся весь день. Все вместе ждали вечерних последних известий по радио. К фройляйн Луизе и господину с окладистой бородой, к Корбмахеру и Флейшеру, к фройляйн Мари, испуганно обнимавшей

Страницкого, присоединились господин Зевейн и господин Бас. У первого были куплены два дивана, стол в стиле конца века и мягкие кресла, у второго — радиоприемник, на котором теперь красовались оба собственноручно подписанных портрета Бальдура фон Меве. Доверие бывшего футболиста к Национальному герою было безгранично.

Господин с окладистой бородой. Ничего, кроме водки, целый день я пью одну водку во славу политики. Да здравствует водка!

Флейшер. Да здравствует окорок!

Зевейн. Пулярка!

Корбмахер. Мозельское!

Бас. Бургундское!

Фройляйн Луиза. Торты!

Флейшер. Скоро начнется. Через три минуты. «Эхо недели»!

Страницкий (*взволнованно*). Моя любимая невеста Мария, мой друг Антон, дорогие друзья! Не забудем же о человеке, которому мы обязаны нашим счастьем,— о Бальдуре фон Меве. Конечно, никто не сомневается в том, что он не струсил под Финстервальдом и вел себя как герой под Сан-Плинплином, но свое подлинное величие он проявил сегодня утром в десять. Я верил в него, но над моей верой смеялись. Однако Меве оправдал мои надежды. Теперь я могу верить в него и впредь, и вы со мной тоже. Мы современники истинного Национального героя, человека, осмелившегося совершить переворот в политике. А для этого, дорогие друзья, необходимо мужество. Да здравствует наш Бальдур фон Меве!

Все. Да здравствует Меве!

Флейшер. Сначала идет сообщение о погоде.

Страницкий. Мы пробилась, дорогие друзья! Еще одна ночь в каморке, и фройляйн Мария, Антон и я переедем в наши апартаменты в «Четырех временах года». Но мы никогда не забудем, откуда мы. Это мы вам торжественно обещаем.

Все. Торжественно обещаем.

Они чокаются.

Флейшер. Теперь сообщение об уровне воды.

Страницкий. Мир изменится, дорогие друзья. Господин Корбмахер уничтожит бедность, а господин Зевейн упразднит армию.

Все. Мы упраздним все.

Страницкий. Господин с бородой возглавит банки.

Все. Он всем откроет кредиты.

Страницкий. Господин Флейшер — железные дороги.

Все. Будем ездить бесплатно.

Страницкий. А фройляйн Луизе мы отдадим домик в стиле рококо во французском парке, с персидскими коврами и кроватками из вишневого дерева, с роскошными креслами и занавесками из брюссельских кружев, с китайскими вазами и фигурками из мейсенского фарфора, с золотыми и серебряными приборами и плюшевыми кушетками.

Все. А мы все будем наведываться к ней.

Фройляйн Луиза. Наступит рай.

Все. Рай для маленьких людей.

Корбмахер. Считалось, что это будет через трижды сто тысяч недель.

Все. Рай.

Зевейн. Он полз к нам медленно, как вечность.

Все. Рай.

Господин с окладистой бородой. И вдруг он разверз перед нами свои беспредельные дали.

Бас. И не когда-нибудь, когда рак свистнет, а прямо сегодня.

Все. Рай для маленьких людей.

Флейшер (взволнованно). Вот он!

Страницкий. Так давайте послушаем сообщение о моем назначении министром полиции.

Все. Ура!

Страницкий. Министром внутренних и иностранных дел.

Все. Ура!

Страницкий. И то, что Антон возглавит церковь и финансы.

Все. Ура.

Празднество достигло своего апогея.

Женский голос по радио. «Эхо недели» передает: в гостях у Национального героя. Передачу ведет Й. П. Вайтблейк. Господин с окладистой бородой. Спокойствие!

Фройляйн Луиза. Сделайте погромче!

Корбмахер. Тихо!

Вайтблейк (по радио). Дорогие радиослушатели, сегодня мы с нашим микрофоном находимся в Вифлеемской клинике. Мы присутствуем при торжественном акте. Но это не один из тех высоких государственных актов, которые столь часто, будь то подписание мира под Кенигеном или договора в Питанге, требовали благословения нашего Национального героя. Это акт любви к ближнему. Бальдур фон Меве принимает двух простых людей из народа, двух сограждан, особенно тяжело страдающих под пятой времени, двух инвалидов. В то же время этот прием чрезвычайно показателен для нашего Национального героя, потому что кто же, как не он, наш трагически занемогший Национальный герой, знает, что такое страдание. И поэтому он беседовал с этими простыми солдатами, изувеченными в дальних землях, в духе сердечного — Бальдур фон Меве сам употребил это слово — товарищества.

Национальный герой (по радио). Мы ведь товарищи.

Голоса (по радио). Браво! Да здравствует наш Национальный герой.

Национальный герой (по радио). Защитники нашей родины потеряли глаза и ноги, а у меня проказа. В конечном итоге всем нам приходится страдать.

Приглушенные аплодисменты.

Для нас троих это значит: держать выше голову и, сжав зубы, исполнять свой долг перед отечеством.

Страницкий (по радио). Господин Меве, вы говорили от всей души.

Страницкий (гордо). Это я говорю.

Вайтблейк (*по радио*). Что может быть показательней для глубокой любви, которую питает народ к своему Национальному герою, чем такие слова простого инвалида. Поэтому этот непритязательный прием глубоко взволновал всех. Ведь они увидели в Национальном герое человека, заботящегося и о них, несмотря на болезнь, от которой замирает сердце. Один за всех и все за одного. Никогда еще это изречение не доказывало свою истинность очевиднее, чем в это утро в Вифлеемской клинике. В заключение оба инвалида с горящими глазами приняли в дар фотографии нашего Национального героя, добрый, мужественный, отмеченный страданием голос которого вы сейчас еще раз услышите.

Национальный герой (*по радио*). Рад. Еще Гёте... Чрезвычайно рад. Портреты, герцогиня фон Тойфелен, портреты, хорошо?

Женский голос по радио. «Эхо недели» передавало запись маленького праздника в Вифлеемской клинике. Передачу вел Й. П. Вайтблейк. Мы переходим теперь к вопросу о расширении рынка для убойного скота. Серьезный разговор между директором боен Вейсбушем и советником...

Флейшер (*возмущенно*). А где же речь?

Корбмахер. Надувательство!

Фройляйн Луиза (*пронзительно*). Страницкий все на-врал!

Господин с окладистой бородой. Все вздор!

Флейшер. А кто заплатит за окорок?

Фройляйн Луиза. За торты?

Корбмахер. За пулярку и шампанское?

Господин с окладистой бородой. За водку?

Зевейн. За мебель?

Бас. За радиоаппаратуру?

Все. Обманщик! Мошенник!

Страшный шум.

Диктор. Когда надежды инвалида разбились вдребезги, поднялся ужасный кавардак. Господин Корбмахер — к сожалению, мы должны упомянуть об этом — разбил о голову бывшего футболиста сан-плинплинский портрет Меве,

Флейшер — финстервальдский. Господин с окладистой бородой бил Страницкого бутылкой из-под шампанского, Зевейн и Бас — креслами, пока наконец слепой не отшвырнул их всех в сторону. Великан подхватил безногого на руки, как ребенка, промчался с ним пять этажей вниз по знакомой лестнице и исчез в темноте ночи, оставив далеко позади не поспевавшую за ними плачущую Марию.

Мария (*в отчаянии*). Я же хочу стать твоей женой, Адольф Иосиф. Тебе совсем не нужно быть министром. Я хочу работать для тебя, я хочу заботиться о тебе. Страницкий, мой Страницкий!

Продавец. Значки общества Меве, покупайте значки Меве!

Страницкий. Все правильно, Антон. Ты спас меня как герой. Дальше, дальше! Какой я был дурак, хотел стать министром! Ну, теперь я опять безногий футболист. Прямо, все время прямо! Всю улицу Моцарта, мимо парфюмерной фабрики Губера, в сторону трикотажного концерна.

Меня давно лишила
Обеих ног война.
Но вот раздулся палец
Героя Плинплина.

Тут я обрел надежду,
Что кончится беда,
Что войн не будет в мире
И горя никогда.

Продавец. Памятные значки общества Меве. Покупайте значки общества Меве!

Страницкий.

Сочувствие, однако,
Бывает двух родов:
В роскошном одеянье
И в платье бедняков.

Роскошная одежда
Была не для меня.

Покинула надежда
Меня средь бела дня.

Разносчик газет. «Эпоха»! Национальный герой принял
двух инвалидов! «Эпоха»!

Антон.

Мои глаза видали
Утопшие суда.
Вам увидеть такое
Не снилось никогда.

В потоках Иравади
Остался я без глаз.
Вот так я искупался
В волнах в последний раз.

Продавец. Памятные значки общества Меве! Покупайте
значки Меве!

Антон.

Вовеки не исчезнут
Из памяти моей
Кораллы, и медузы,
И мачты кораблей.

И все ж людская черствость
Страшнее всяких бед.
Кто этого не понял —
Того несчастней нет.

Мария (издалека). Страницкий, мой Страницкий!

Диктор. Так они и шли. И исчезли в ночи нашего города. Когда пришло утро, из канала вытащили тележку. Безногий направил слепого к их общей гибели. Тела обоих не были обнаружены, канал, наверно, уже унес их в море. Благодаря этому обстоятельству и состоялось последнее свидание инвалидов с нашим Национальным героем. В мае следующего года Меве возвращался в столицу после длительного пребывания на Ривьере. Он выглядел вполне здоровым, розовощеким и полнотелым, так как Модерцану удалось с помощью американского препарата если не пол-

ностью устранить, то, во всяком случае, приостановить проказу. И вот когда торжественная процессия, приветствуемая ликующим населением, вступила на мост, пересекавший канал около собора святого Себастьяна, вновь показались оба инвалида. Несомые прибоем, они появились со стороны моря, два чудовищно раздутых водой трупа, футболист на спине у слепого, кораллы и водоросли в обесцветившихся волосах, морские звезды и раковины в глазницах. Так всплыли они, освещенные красноватым вечерним светом, в наш город, и безногий как будто грозил своим поднятым кулаком Национальному герою. Потом они погрузились в поток. Напрасно полиция до поздней ночи пыталась шестами и палками положить конец скандальному происшествию. Отлив, видно, унес призраки обратно в океан. Вот, дамы и господа, и конец истории инвалида Страницкого.

Содержание

- 5 *Н. Павлова. Предисловие*
- 15 *Зимняя война в Тибете. Перевод И. Кивель*
- 86 *Авария. Перевод Н. Бунина*
- 120 *Операция «Вега». Перевод М. Павловой*
- 155 *Страницкий и Национальный герой. Перевод
Н. Павловой*

Дюрренматт Ф.

Д 97 Зимняя война в Тибете: Фантастическая повесть и радиопьесы/ Пер. с нем. Предисл. Н. Павловой.— М.: Известия, 1990.—192 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»).

Центральное место в сборнике занимает фантастическая повесть «Зимняя война в Тибете», действие которой происходит в условиях ядерной зимы после третьей мировой войны. Пафос повести — предостережение, и в этом ее высокий гуманистический смысл.

Д 4703010100-010 69-90
074(02)-090

**ББК 84.4Ш
И(Швейц)**



Фридрих Дюрренматт

(р. 1921) — крупнейший швейцарский писатель, драматург.

Дюрренматт творит, смешивая, сдвигая, перетасовывая характерные черты современного мира. Но при этом он лепит иную реальность, существующую по своим законам, смешную, гротескную,

страшную, фантастическую, но узнаваемую. По его собственным словам, он создает "модели возможных человеческих отношений". Произведения писателя широко известны как в СССР, так и за рубежом; пьесы идут во всех театрах мира. Известнейшие его пьесы: "Ромул Великий" (1949), "Брак господина Миссисипи" (1952), "Визит старой дамы" (1956), "Физики" (1962). Дюрренматт — автор нескольких переведенных на русский язык детективных романов: "Судья и его палач" (1950), "Подозрение" (1951), "Обещание" (1959).